

Роман — финалист Букеровской премии,  
лауреат Международной Дублинской премии IMPAC

# КОЛМ ТОЙБИН МАСТЕР



18+

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

Большой роман (Аттикус)

Колм Тойбин

**Мастер**

«Азбука-Аттикус»

2004

УДК 821.111  
ББК 84(4Ирл)-44

**Тойбин К.**

Мастер / К. Тойбин — «Азбука-Аттикус», 2004 — (Большой роман (Аттикус))

ISBN 978-5-389-24647-8

Впервые на русском – роман Колма Тойбина, автора «Волшебника» и «Бруклина», книга – финалист Букеровской премии, лауреат Международной Дублинской премии IMPAC, «изысканное освещение внутреннего мира Генри Джеймса» (New York Times). Современный классик отдает дань уважения одному из столпов американской и мировой литературы, предтече модернизма. Выдающийся художник, мастер тонкого психологического портрета, показан во всей своей уязвимости и одиночестве – от провала постановки его пьесы «Гай Домвиль» в лондонском театре Друри-лейн, пока в соседнем театре публика рукоплещет премьере «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда, до визита в провинциальный английский городок Рай, где Джеймс поселился на склоне лет, его брата, философа Уильяма Джеймса, и с многочисленными реминисценциями к ключевым эпизодам биографии прославленного добровольного изгнанника, который предпочел Лондон, Флоренцию и Париж родному Бостону... «Негромкий шедевр, работа необычайной серьезности и сопричастности, раскрывающая нам гения во всей его человеческой полноте. И написан этот глубокий роман – не побоимся слова – мастерски» (New York Observer).

УДК 821.111  
ББК 84(4Ирл)-44

ISBN 978-5-389-24647-8

© Тойбин К., 2004  
© Азбука-Аттикус, 2004

# Содержание

Глава 1	10
Глава 2	21
Глава 3	37
Глава 4	48
Глава 5	57
Конец ознакомительного фрагмента.	61



# Колм Тойбин Мастер

**Colm Tóibín**

**The Master**

Copyright © Colm Tóibín, 2004

© Е. Ю. Калявина, перевод, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Иностранка®

\* \* \*

Изысканная проза.

*Филип Пулман*

Обязательно к прочтению. Колм Тойбин не просто сочинил захватывающий роман, он сумел таким образом отдать дань уважения Генри Джеймсу. Всем бы нам такой дар и такое везение.

*Элис Сиболд(автор «Милых костей»)*

В «Мастере» Тойбин шокирующе близко подводит нас к душе Генри Джеймса – а заодно и к тайне самого творчества.

*Майкл Каннингем*

Литература о реальных исторических личностях, столь внутренне противоречивая, ощущается как часть безудержной эклектики постмодернизма. Правда, подобные примеры существовали и до двадцатого столетия – скажем, Наполеон и русский генерал Кутузов, изображенные Толстым в «Войне и мире», или портреты поэта Петрония, императора Нерона и святого Петра в «Камо грядеши?» Сенкевича. Но до той поры, пока истина не стала абсолютной условностью, имидж не возобладал над фактами, а историческое прошлое не превратилось в чердак, набитый потенциально завлекательными безделками, прославленным мертвецам было дозволено покоиться в оставленных ими записях, документах и свидетельствах их деяний в письмах и рассказах современников. Вымысел довольно близко соприкасается с фактами: к примеру, какой бы фантастической деталью это ни казалось, Джеймс в самом деле прятался среди публики на лондонском представлении пьесы Оскара Уайльда, пока буквально за несколько кварталов катастрофически разворачивалась постановка его собственной пьесы. Он действительно провел август 1865 года в местечке Норт-Конвей, штат Нью-Гэмпшир, в обществе своих кузин Темпл, и этот месяц подарил ему воспоминания о яркой и дерзкой Минни Темпл, которые легли в основу и «Дейзи Миллер», и «Женского портрета».

Похоже, некое гипнотическое влечение вдохновило Тойбина на масштабную, туманную и прихотливую работу по реконструкции. Тойбин ситуативно точен во всем, что касается Флоренции Джеймса; он детален в описании маршрута от Лэм-Хауса к побережью. Проведя довольно долгое время в Америке, он хорош в описании американца Джеймса, испытывающего ностальгию по «американским голосам, (которые) хоть и полны энтузиазма, однако вовсе не так оригинальны, как они воображают, и не так уж неотягощены историей, как им кажется».

*Джон Андайк*

Этот великолепный роман Тойбина – трогательное размышление об одиночестве как о кладезе красоты.

*Бернхард Шлинк (автор «Чтеца»)*

Колм Тойбин обладает превосходным пониманием величайшего из американских писателей и незримо сопровождает его в Риме, Ньюпорте, Париже, Флоренции и Лондоне Оскара Уайльда. Впрочем, ничто в этой книге не кажется обрывочным или поверхностно-импровизационным. Это хорошо выдержанный труд, достойный Мастера.

*Эдмунд Уайт (автор «Истории одного мальчика»)*

Колм Тойбин не просто наблюдает за Генри Джеймсом, он вселяется в него. И под этим неординарным углом зрения он демонстрирует поразительную изобретательность.

*Джон Берендт (автор «Полночи в саду добра и зла»)*

Великолепный портрет сложного и страстного человека.

*Азар Нафиси (автор «Читая „Лолиту“ в Тегеране»)*

Сотворить роман из жизни писателя, да так, чтобы он оказался подлинным романом, а не замаскированной биографией, – это стратегический подвиг: застенчиво-лукавые интонации и структурная изобретательность Тойбина подспудно гениальны и всегда эффективны. Его передача первых намеков на идеи или предощущений будущих рассказов, как они формируются в мыслях Джеймса, – сама по себе образец писательского волшебства. Этот прекрасный, проникновенный роман вызовет восторг и любовь и у Джеймсианцев, и у не-Джеймсианцев.

*Синтия Озик*

В конечном счете в этом вся суть Генри Джеймса... которого Тойбин воскрешает в своем блестящем романе.

*The Times*

Трудно вообразить поклонника Генри Джеймса, которого не захватил бы этот роман – труд о подлинной преданности литературе, созданный писателем, который сам является мастером шикарной прозы и психологических нюансов.

*Sunday Telegraph*

Один из самых замечательных романов года.

*Sunday Herald*

«Мастер» дает нам возможность по-настоящему сблизиться с одним из тех, кто мог бы быть Генри Джеймсом.

*London Review of Books*

В «Мастере» Тойбин возвращает Джеймса к жизни – простая биография на такое не способна.

*Esquire*

Мало найдется современных романистов, способных выдержать такое психологическое испытание на протяжении всего романа, а Тойбин делает это весьма искусно и убедительно.

*Spectator*

Тойбин тонко улавливает сложность судьбы Джеймса, его скрытность, его неоднозначное страстное стремление к любви и отказ от надежды ее обрести... Отважная дань уважения писателю, которого серьезные художники и по сей день признают Мастером.

*Irish Times*

Превосходная книга.

*Scotsman*

Роман, исполненный прозрений, филигранных камео и нежного сопереживания мучительной сдержанности человека чувствующего, но так и не осмелившегося на плотскую любовь.

*New Statesman*

«Мастер» – книга, достойная восхищения.

*Daily Telegraph*

Дух захватывает... Тойбин демонстрирует – и весьма виртуозно – остроумие и метафорическое чутье, психологическую тонкость и пронзительную остроту фразировки, с которыми великий романист запечатлел нюансы сознания и двуличие светского общества.

*Sunday Times*

Великолепно сдержанный... этот роман – мастерское, интимное размышление о работе, амбициях, дружбе, желаниях и бренности.

*Chicago Tribune*

Такую глубину и чувственность способны предложить лишь немногие авторы... В результате имеем незабываемый портрет одного из самых проникательных социальных исследователей в мире.

*The Christian Science Monitor*

Непревзойденно... Тойбин пишет благородный и щемяще печальный портрет.

*Entertainment Weekly*

Западающий в душу, прекрасный роман.

*O, The Oprah Magazine*

«Мастер» – превосходный, изысканный до мельчайших нюансов портрет.

*San Francisco Chronicle*

В умелых руках Тойбина перед нами разворачивается цельный и, в конечном счете, трогательный портрет уходящей эпохи.

*The Boston Globe*

В своем ярком романе Тойбин воображает личную жизнь этого чрезвычайно закрытого американского романиста. И акт творения, этот деликатный и таинственный процесс, сопряженный с психологическим давлением, Тойбин сумел запечатлеть как нельзя лучше.

*People*

Это смелая, глубокая и потрясающе интеллектуальная книга.

*The Guardian*



«Мастер», ведя непринужденную беседу, не читается как просто биография. Тойбин блестяще использует архитектуру эпизодов... Совокупный эффект завораживает.

*Minneapolis Star Tribune*

Восхитительно яркое произведение.

*Kirkus Reviews*

Изысканное освещение внутреннего мира Генри Джеймса... оказывает такое изумительное воздействие.

*The New York Times*

Прекрасно написанный, участливый, приправленный доброжелательным остроумием «Мастер» – мастерски исполненное художественное произведение.

*The Courier Post*

Негромкий шедевр, работа необычайной серьезности и сопричастности, раскрывающая нам гения во всей его человеческой полноте. И написан этот глубокий роман – не побоюсь этого слова – *мастерски*.

*New York Observer*

Тойбин написал произведение, в котором чувствуется большое мастерство и изобретательность.

*The Weekly Standard*

Изумительное литературное достижение.

*BookPage*

В этом посвящении Генри Джеймсу Колм Тойбин позволяет каждому из нас быть мастером.

*Petersburg Times*

Даже тот, кто имеет весьма смутное представление о Генри Джеймсе и не читал его книг, может насладиться этим умным и обаятельным романом, который – не на серебряном блюде, но в раскрытых и нежных ладонях – преподносит нам прекрасно проработанный во всех деталях психологический портрет писателя.

*Booklist*

Трогательный, бесконечно прекрасный роман от автора самой высшей лиги.

*The New York Times Book Review*

Едва ли не лучшая книга, когда-либо написанная о Генри Джеймсе.

*Irish Voice*

*Посвящается Барбре и Майклу Стэк*

## Глава 1

*Январь 1895 г.*

По ночам к нему порой являлись мертвецы – снились знакомые лица, а также иные обли-чья, уже полузабытые, мимолетные вспышки из прошлого. Очнувшись нынче, он решил было, что до рассвета осталось едва ли больше часа; однако тянулись часы и часы, без звука, без движения. Он потрогал затекшие мышцы шеи, пальцы словно коснулись твердого дерева, но боли не было. Двигая головой, он буквально слышал, с каким скрипом подчиняются мускулы. Я точь-в-точь старая рассохшаяся дверь, сказал он сам себе, прекрасно сознавая, что должен поскорее заснуть снова. Не годится ему бодрствовать в это время суток. Он жаждал погрузиться в блаженную черноту, оказаться в темном, но не слишком мрачном приюте отдохнове-ния – отрешиться от людей и призраков, от назойливого мельтешения образов.

В следующий раз он пробудился в смятении, не отдавая себе отчета, где находится. Он частенько просыпался таким – встревоженным, не до конца оклемавшимся – и с тоской ждал неизбежного начала дня. Порой в дреме он воображал себя в кресле у стены старого дома в Беллосгардо и грелся в солнечном мареве весеннего утра, вдыхая аромат глицинии, ранних роз и жасмина, наслаждаясь поцелуями солнечного света. И мечтал, что, когда он проснется, день будет подобен сну, а отблески этого душистого тепла и легкости останутся с ним до прихода следующей ночи.

Но этот сон был иным. Была ночь или сумерки в каком-то старом итальянском городе, наподобие Орвието или Сиены, но без явных указаний на какое-то определенное место; просто город-греза с узкими улочками, и он спешил; непонятно было, идет ли он один или с кем-то, но он определенно спешил, а вокруг было полно студентов, которые неторопливо поднимались вверх по улице, мимо ярко освещенных витрин магазинов, кафе и ресторанов, и ему не тер-пелось во что бы то ни стало их обогнать, оторваться от этой толпы. Как он ни старался, он все еще не мог сообразить, сопровождал ли его кто-то, или же ему просто померещился его спутник, а может быть, просто какой-то незнакомец шел в нескольких шагах позади. Он мало что мог припомнить об этом призрачном, зыбком попутчике, но вроде бы тот лучше его самого сознавал необходимость поторапливаться и то и дело бормотал ругательства, уговаривая при-бавить шаг, и распахивал студентов безо всяких церемоний.

С чего бы вдруг ему мнилось все это? Кажется, на каждом перекрестке, где проблескивал переулок, ведущий на площадь, его подмывало свернуть с заполненной народом улицы, но ему не позволяли, заставляли двигаться дальше. Принадлежал ли этот неумолимый голос его при-зрачному спутнику? Наконец перед ним открылась типичная итальянская пьяцца – обширное пространство, окруженное башенками и островерхими крышами, крытое лаковой гладью чер-нильно-синего неба. Он остановился, созерцая площадь, будто картину в раме, вбирая сим-метрию и текстуру. Однако – и он содрогнулся при этом воспоминании – в центре композиции оказались люди. Они образовывали круг, но он не видел ни одного лица, только спины. Он уже собрался было подойти к ним, и тут персоны, стоявшие к нему спиной, повернулись. У одной было лицо его матери – такое, каким он видел его в последний раз, в самом конце. Рядом, в окружении других женщин, стояла его тетушка Кейт. Обе они были мертвы уже много лет; улыбаясь, они медленно приближались к нему. Лица их светились, точно лики на полотне. На ум пришло слово, – определенно, оно приснилось ему тогда же, когда и эта сцена: «Взываю». Женщины умоляли о чем-то его или кого-то другого, выпрашивали, заклинали и молитвенно простирали руки, но когда они наконец подошли, он пробудился в холодном поту, изнывая от безнадежного стремления узнать, о чем они томились, какое утешение он мог бы предложить этим двум самым любимым на свете существам.

Послевкусием сна стала гнетущая тоска, и, зная, что не должен опять засыпать, Генри ощутил непреодолимое желание начать писать, все равно что – что-нибудь, что поможет отрезвиться, отвлечься от видения двух этих женщин, навеки для него потерянных. И закрыл лицо руками, вспомнив один-единственный момент своего сна, тот самый, что заставил его так резко пробудиться. Сейчас он отдал бы все на свете, чтобы забыть этот миг, помешать ему последовать за ним в наступивший день. Во сне, на той площади, он поймал взгляд матери и увидел в ее глазах панику, а на губах – застывший крик. Она отчаянно хотела чего-то недостижимого, чего не могла получить, а он был не в силах ей помочь.

В канун Нового года он отказался от всех приглашений. Леди Вулзли он написал, что целый день наблюдал за репетициями в компании толстых женщин из костюмерной. Он был охвачен беспокойством и смятением, а то и настоящей тревогой, но наблюдал за происходившим на сцене с восторгом и упоением неопита. Пусть леди Вулзли и ее супруг вознесут за него молитвы накануне премьеры его пьесы – та уже не за горами.

Весь вечер он бродил как неприкаянный, а ночью то и дело просыпался. Он не виделся ни с кем, кроме слуг, а те по опыту знали, что сейчас его нельзя беспокоить и лучше вообще не обращаться к нему, помимо совершенно уж неотложных вопросов.

Его пьеса «Гай Домвиль», о наследнике богатого католического семейства, который разрывается между желанием уйти в монастырь и чувством долга, побуждающим к продолжению рода, назначена к премьере пятого января; все приглашения разосланы, и многие адресаты уже прислали ответные письма с подтверждением и благодарностью. Александер, режиссер-постановщик и по совместительству исполнитель главной роли, пользовался благосклонностью взыскательных театралов, а костюмы были поистине роскошными – действие происходит в восемнадцатом веке. И все же, несмотря на остроту нового увлечения, которое он испытывал, вращаясь при свете рамп в пестром актерском кругу, наслаждаясь крошечными изменениями и улучшениями, ежедневно вторгавшимися в пьесу, он не создан для театра, он всегда так считал. Генри вздохнул, садясь за письменный стол. Как бы ему хотелось, чтобы это был самый обычный день. Можно было бы перечитать вчерашние заметки, исправлять и редактировать, а потом все переписать заново, заполняя рабочее время привычной рутинной. И все же он знал, что его настроение может измениться так же быстро, как меркнет дневной свет в комнате, он вновь взалкает счастья театральной жизни и возненавидит общество пустых страниц. Должно быть, все эти метания – издержки пресловутого среднего возраста.

Его гостя явилась ровно в одиннадцать. Он не мог уклониться от встречи: письмо было филигранно-настойчивым. Она писала, что совсем скоро навсегда покидает Париж, а перед этим в последний раз навестит Лондон. В послании было что-то непостижимо окончательное, покорное судьбе, и эта интонация настолько не вязалась с ее характером, что он сразу осознал нешуточность беды, в которую она попала. Они не виделись много лет; впрочем, за эти годы он получал весточки от нее самой и известия о ней от общих знакомых. Однако этим утром, все еще преследуемый своим сном и озабоченный своей пьесой, он воспринимал ее лишь как имя в дневнике, имя, пробуждающее старые воспоминания – резкие в своих очертаниях и блеклые в деталях.

Когда она вошла в комнату, ее стареющее лицо осветила теплая улыбка, ширококостная фигура двигалась плавно и неторопливо. Ее шутовское приветствие было таким открытым и ласковым, а глубокий голос, временами понижавшийся почти до интимного шепота, звучал так пленительно и мягко, что все его беспокойство о пьесе, о времени, которое он тратит впустую, не находясь в театре, растаяло без следа. Он и забыл, как сильно она ему нравилась; как же легко оказалось скользнуть в далекие парижские дни, когда он, юнец двадцати с небольшим, отчаянно втирался в компанию русских и французских писателей.

Как же случилось, что эфемерные, выдуманные образы со временем стали интересовать его куда больше, чем эти знакомые – снискавшие мировую славу, почившие в безвестности, те, чей лавровый венок стремительно увял, и те, кто никогда и не стремился к признанию. Его гостя была замужем за князем Облиским. Князь имел репутацию человека сурового и нелюбимого; судьба России и собственное, исполненное высоких целей изгнание интересовали его куда больше, чем ночные посиделки суетных представителей богемы. Княгиня тоже была русской по происхождению, но с юных лет жила во Франции. Княжескую чету неизменно окружали намеки, слухи и догадки. Как это характерно для того времени и того города, подумал Генри. Ведь всех, кого он знал в Париже, осеняла аура другой жизни, полуреальной-полумистической, – жизни, о которой нужно знать, да помалкивать. В те годы он в каждом встречном искал приметы тайны, которую тот мог бы невольно выдать, прислушивался к подсказкам, улавливал нюансы. Ничего подобного не было ни в Нью-Йорке, ни в Бостоне, а когда он наконец поселился в Лондоне, тамошние жители вели себя согласно убеждению, что у вас не может быть никакого тайного, глубоко сокрытого «я», если только вы сами весьма решительным образом не заявляете обратного.

Он помнил, какой шок испытал, впервые оказавшись в Париже, окунувшись в эту культуру изящного двучия, увидев всех этих мужчин и женщин, которых наперебой описывали романисты, как бы между прочим умалчивая о самой важной составляющей этой жизни.

Он всегда недолюбливал интриги, и все же ему нравилось обладать секретами, потому что чего-то не знать означало упустить почти все. Сам он научился никогда ничего не разглашать и вести себя совершенно бесстрастно, услышав какую-то новую важную информацию, – так, будто это пустячная светская болтовня. Обитатели и обитательницы парижских литературных салонов точно разыгрывали сложную партию, состязаясь в знании и неведении, притворстве и маскировке. Он научился у них всем трюкам.

Усадив княгиню, Генри притащил охапку подушек, предложил любое кресло, шезлонг или кушетку, где ей будет удобнее присесть или даже прилечь.

– Людям моего возраста уже не бывает удобнее, – грустно улыбнулась княгиня.

Он перестал ходить по комнате и повернулся, чтобы посмотреть на нее. Ему было хорошо известно, какое воздействие оказывает на людей хладнокровный, внимательный взгляд его спокойных серых глаз. Под этим сосредоточенным взглядом собеседники успокаивались, точно сознавали: время недомолвок и легкомысленной игры в полуразговор миновало, то, что будет сказано далее, – очень серьезно.

– Я должна вернуться в Россию, – сказала она на своем отчетливом, подчеркнуто безупречном французском. – Вот что я должна сделать. Я говорю «вернуться», будто я на самом деле когда-нибудь там жила. Конечно, я бывала на родине, но, право же, никакого впечатления на мне эти визиты не оставили. У меня нет ни малейшего желания снова увидеть Россию, но он настаивает – я должна покинуть Францию и поселиться там навсегда.

Как и все, что она говорила, эти слова сопровождались улыбкой, но на лице ее проступило какое-то тоскливое недоумение. Вслед за гостьей в комнату заявилось прошлое, а сейчас, годы спустя после смерти родителей и сестры, любое напоминание о былом и утраченном вызывало у него тяжелую и неудержимую скорбь. Время неумолимо, в молодости он и вообразить не мог, какую боль могут доставить потери; нынче спасение от этой муки ему дано искать лишь в работе и во сне.

По ее мягкому голосу и легкомысленным манерам было ясно: она ничуть не изменилась. Все знают, что муж скверно с ней обращался и плохо управлял своими земельными угодьями. Она начала рассказывать о каком-то поместье в российской глуши, куда ее ссылают до конца дней. Январский шелковистый свет струился по комнате. Генри сидел и слушал. Он знал, что князь Облиский оставил в России сына от первого брака и угрюмо коротал свою жизнь в

Париже. От него всегда пахло какими-то политическими интригами и заговорами, он намеками давал понять, что еще сыграет свою роль в истории России и лишь ждет своего часа.

– Муж говорит, что всем нам пора вернуться в Россию, на родину. Он заделался реформатором. Твердит, что Россия развалится, если не изменится. Я сообщила ему, что Россия давным-давно развалилась, но не стала напоминать, что его весьма мало интересовали реформы, покуда он не оказался по уши в долгах. Ребенка воспитала семья его первой жены, и никто из них не желает иметь с князем ничего общего.

– Где же вы будете жить? – спросил он.

– Я буду жить в рассыпающейся усадьбе, а полупомешанные крестьяне будут прижиматься носами к стеклам моих окон, если там в окнах еще остались какие-то стекла. Вот где я буду жить.

– А Париж?

– Мне придется от всего отказаться: от дома, от слуг, от друзей, от всей жизни. Там я замерзну или умру со скуки. Это будет гонка двух зол.

– Но к чему все это? – мягко спросил Генри.

– Он говорит, что я растратила все его деньги. Я продала дом, несколько дней подряд жгла письма, выбрасывала одежду и плакала. А теперь я прощаюсь со всеми. Завтра я уезжаю из Лондона, проведу месяц в Венеции. Потом я поеду в Россию. Он говорит, что многие другие тоже возвращаются. Но они-то едут в Петербург. Для меня он уготовил совсем иной удел.

В голосе княгини звучало неподдельное чувство, и все же, исподволь наблюдая, он не мог отделаться от ощущения, что слушает одного из «своих» актеров, упивающегося собственной игрой. Порой она говорила о себе, словно о героине забавного анекдота.

– Я повидалась со всеми друзьями, кто еще жив, и перечитала письма тех, кто уже умер. Кое с кем из них я проделала и то и другое. Я сожгла письма Поля Жуковского<sup>1</sup>, а потом повстречала его. Это была неожиданная встреча. Он так постарел. Этого я тоже не ожидала.

На секунду она встретила с ним взглядом, и комната озарилась вспышкой ясного летнего света. По его подсчетам, Полю Жуковскому сейчас под пятьдесят; они не виделись много-много лет. И никто не упоминал при нем его имя так внезапно и непринужденно.

Генри немедленно перехватил нить разговора, засыпал собеседницу вопросами – все, лишь бы сменить тему. Она могла найти в письмах какое-то упоминание о встрече или разговоре, случайную фразу, намек. Впрочем, вряд ли. Вероятно, гостья из ностальгии просто всколыхнула его собственную, созданную в те годы ауру. Такую женщину, как она, разумеется, не обманули попытки притвориться рассудительным и тонким светским человеком – она заметила его замешательство, его встревоженный взгляд. Конечно, они тогда ничего такого не говорили, ровно как и теперь она ничего не произнесла, лишь имя, одно только имя, звенящее в ушах. Имя, что некогда означало для него целый мир.

– Но вы же вернетесь?

– Вот обещание, которое он у меня вырвал. Что я не вернусь никогда. Что останусь в России.

Этот пафос внезапно переместил ее на сцену его воображения: она двигается с наигранной непринужденностью, мечет отточенные реплики, одну за другой. Он сообразил, что произошло. Должно быть, она совершила какую-то роковую оплошность, а теперь расплачивается. В ее кругу все знают всё, а если не знают, то догадываются. Вот и ему она намекает. Занятно, думал он, ведь и сам он, наблюдая за княгиней, анализирует ее слова и поступки и думает лишь об одном: скорее бы она ушла, тогда можно все это описать и использовать.

---

<sup>1</sup> Павел Васильевич Жуковский (тж. Пауль Жуковский; 1845–1912) – русский художник, сценограф Рихарда Вагнера; родился и большую часть жизни провел в Германии. Сын поэта Василия Андреевича Жуковского. – *Здесь и далее примеч. перев.*

Не надо больше никаких житейских подробностей, думает он. Но она не уходит, она продолжает говорить, *взывая*.

– Понимаете, все другие и вправду вернулись и пишут, что все великолепно. Доде<sup>2</sup>, с которым я познакомилась на какой-то вечеринке, изрек самую глупую вещь на свете. Думал, наверное, что это меня утешит. Он сказал, что у меня останутся воспоминания любви. Да что за польза мне из воспоминаний – так я ему и сказала. Я люблю сегодня и завтра, а если взбодрюсь и почишу перышки – у меня будет еще и послезавтра. День минул, кого волнует?

– Думаю, Доде кое-что знает о вчерашнем дне.

– Пожалуй, даже слишком много.

Она встала, и он проводил ее до крыльца. Оказалось, все это время ее ожидал кэб. Кто же за это заплатит, мелькнула у него мысль.

– А, по поводу Поля. У меня остались кое-какие письма. Вас они интересуют?

Генри протянул руку, будто княгиня ничего и не спрашивала. Он задержал ее ладонь на лишнее мгновение, шевельнул губами, собираясь что-то сказать, но она уже садилась в кэб – кажется, со слезами искреннего волнения на глазах.

Вот уже десять лет он жил в апартаментах на Девер-Гарденс, а имя Поля ни разу не проносились в этих стенах. Его существование было похоронено под ежедневной работой по писанию, запоминанию и воображению. Уже много лет Поль ему даже не снился. История княгини предстала перед ним обнаженной до скелета, в память врезалась каждая деталь. Он еще точно не знал, как он это выстроит, что станет ключевой сценой описания ее последних дней в Париже – сжигание писем, раздача одежды, разлука с любимыми вещами? Или последний прием в ее салоне? Или ее свидание с мужем, момент, когда она впервые узнала свою участь?

Он запомнит ее визит, но сейчас ему хотелось записать еще кое-что. Нечто, уже написанное раньше и поспешно уничтоженное. Как же это странно и почти печально – он сочинил так много, так много издал, обнародовал столько личной информации. А между тем самое важное, самое нужное никогда никто не опубликует и не прочтет, никогда никто ничего не узнает и не поймет.

Генри взял перо и приступил. Он мог набросать примитивный план или использовать стенографические каракули, разобрать которые способен лишь он один. Но он писал четко, набело, проговаривая про себя каждое слово. Он не знал, зачем это надо написать, почему нельзя удовлетвориться всколыхнувшимися воспоминаниями. Но визит княгини, ее памятования и сетования на внезапную ссылку и на то, что ей не суждено вернуться, а еще... – он перестал писать и вздохнул – произнесенное ею имя, произнесенное так, точно оно все еще живо и уловимо здесь, с ними. Вот что руководило им и определяло манеру письма, пока он работал.

Он изложил на бумаге, что произошло тем летом, почти двадцать лет назад, когда он вернулся в Париж и получил записку от Поля. Он стоял в сумерках на маленькой улочке прекрасного города и, задрав голову, вглядывался, ожидая, не зажжется ли лампа в окне третьего этажа. Когда вспыхнул свет, он вперил взор в это окно, пытаясь разглядеть за ним лицо Поля Жуковского, его темные волосы, быстрый взгляд, насупленность, так легко сменявшуюся улыбкой, тонкий нос, широкий подбородок, бледные губы. Ночь пришла, и он был уверен, что его самого на неосвещенной улице не разглядеть, и знал также, что не может шелохнуться ни для того, чтобы вернуться в свою квартиру, ни – он затаил дыхание при одной мысли о подобном поступке – постучаться в квартиру Поля.

---

<sup>2</sup> Альфонс Доде (1840–1897) – французский романист и драматург, прославившийся яркими, часто комическими книгами из жизни южных областей – Прованса и Лангедока («Тартарен из Тараскона» и др.).



Послание Поля было весьма недвусмысленным; он ясно дал понять, что будет один. Никто не приходил и не уходил, но и лицо Поля не появлялось в окне. Теперь Генри спрашивал себя, а не в те ли часы ожидания он жил по-настоящему полной жизнью. Самое точное сравнение, которое он смог подыскать, – полное надежд путешествие по тихому, безмятежному морю, интерлюдия между двумя берегами, колыхание, в котором любое определенное движение означало шаг в беспредельную неизвестность. Он ждал, пытаясь хоть мельком увидеть недостижимое лицо. Он стоял там несколько часов, мокрый от дождя, порой его толкали случайные прохожие, но заветного лица в освещенном окне уже было не разглядеть даже на мгновение.

Он записал историю той своей ночи, а потом продумал окончание: рассказ, который никогда не будет написан даже симпатическими чернилами, даже на бумаге, которая самовозгорится по прочтении. Это была чистейшая фантазия, немислимо пытаться выразить ее словами. В ней он на полпути своего ночного бдения перешел через дорогу. Дал знать Полю, что он здесь, и Поль спустился, и они вместе молча поднялись по лестнице. Было совершенно ясно – во всяком случае, Поль ясно дал понять, – что дальше.

Он понял, что у него дрожат руки. Да ведь это всего лишь игра воображения, а он никогда не позволял себе заигрывать. Сейчас он очень близко, но все же не около. Ту ночь он бодрствовал под дождем, пока не погас свет в окне. И даже потом он все еще ждал: вдруг что-то случится. Но слепые темные окна ответили отказом. Он выплыл на сушу – промокший до нитки, в ботинках хлюпала вода.

Ему нравились прогоны и репетиции в костюмах, он развлекался, позволяя себе воображать, кто займет то или иное кресло в зрительном зале. Яркое освещение, экстравагантные и роскошные костюмы, ясные звонкие голоса преисполняли его гордостью и наслаждением. За все эти годы он ни разу не видел, чтобы кто-нибудь покупал или читал его книги. И даже если бы он стал свидетелем подобной сцены, читательский приговор был бы ему неизвестен. Чтение было таким же интимным, безмолвным и единоличным актом, как и творчество. А здесь он услышит, как зрители будут задерживать дыхание, вскрикивать, умолкать.

Он мысленно заполнил половину партера лицами друзей и знакомых, а рядом со своим местом и дальше, до самой галерки – до чего же это было захватывающее занятие! – рассадил незнакомцев. Он представил себе светлые, умные глаза на впечатлительном мужском лице, тонкую верхнюю губу, мягкую светлую кожу, крупную фигуру, из тех, что двигаются с неожиданным изяществом. Пока что он поместил эту фигуру в ряд позади себя, ближе к центру, а рядом усадил молодую женщину, ее маленькие тонкие руки были соединены, кончики пальцев почти касались рта. Один в театре – костюмеры были еще за кулисами, – он наслаждался реакцией своего иллюзорного зала при выходе Александера, игравшего Гая Домвиля. Сразу становилось понятно, в чем будет суть сценического конфликта. Он не сводил глаз со своей воображаемой публики на протяжении всей пьесы, подмечал, как озарилось лицо женщины при виде великолепного костюма миссис Эдвард Сейкер с его изысканной элегантностью столетней давности, обратил внимание, каким серьезным и сосредоточенным стало лицо ее тонкогубого спутника, когда Гай Домвиль, отринув свое огромное богатство и блестящее будущее, решил отречься от мира и посвятить себя созерцательной молитвенной жизни в монастыре.

«Гая Домвиля» предстояло еще изрядно сократить, к тому же Генри знал, что актеры обеспокоены расхождением между первым и вторым актом. Александер, его непреклонный режиссер, велел ему не обращать на них внимания: дескать, их просто подначивает мисс Ветч, у которой мало реплик во втором акте, а в третьем она вообще почти не выходит на сцену. Тем не менее он знал: законы повествования требуют, чтобы однажды появившийся персонаж уже не сходил со страниц, разве что этот герой совсем незначительный или умирает еще до

завершения истории. В пьесе он пошел на такой риск, на который никогда не решился бы в романе. Он молился, чтобы это сработало.

Он ненавидел делать купюры, но знал, что не вправе жаловаться. Поначалу он даже слишком много ворчал – можно сказать, капризничал, как больное дитя, – пока не сделался нежеланным гостем в кабинете Александра. Он знал – бесполезно утверждать, что, если бы пьеса нуждалась в сокращениях, он сделал бы их еще до того, как закончил ее. Теперь он день-деньской только этим и занимался, и уже спустя несколько часов ему стало казаться странным, что никто, кроме него, не замечает логических пробелов и пустот.

Во время репетиций он цепенел в бездействии. Его одновременно волновала и пугала мысль о том, что лишь половина работы принадлежит ему, а другая половина – режиссеру, актерам и всем, кто участвует в постановке. Наблюдение за работой стало фактором времени, и это было ново для него. Над аркой авансцены словно бы висели огромные невидимые часы, за тиканьем которых неотрывно должен был следить драматург, их стрелки неумолимо двигались с восьми тридцати до времени падения занавеса – вытерпит ли публика? В этот напряженный двухчасовой период, если вычесть два антракта, ему предстоит решить проблему, которую он поставил перед собой, или же он обречен.

По мере того как спектакль становился для него все более далеким и все более реальным, когда он наблюдал первые репетиции на сцене, затем первые костюмированные репетиции, он убеждался, что обрел истинное призвание, что не слишком поздно начал писать для театра. Отныне он был готов изменить свою жизнь. Он предвидел конец долгим одиноким дням; мрачное удовлетворение, которое доставляла ему художественная литература, сменится жизнью, в которой он будет писать для голоса и движения, и непосредственным чувством, которое, как ему казалось, он доселе не испытывал. Этот новый мир теперь был рядом, стоит лишь руку протянуть. Но порой, в особенности по утрам, он внезапно сознавал, что дело обстоит как раз наоборот, что он потерпит неудачу и придется волей-неволей вернуться к своему истинному посреднику: к печатной странице. Никогда он еще не ведал таких переживаний и странных смен настроения.

К актерам он испытывал неизменно теплые чувства. Порой ему казалось – он готов сделать для них все на свете. На протяжении долгих дней репетиций по его распоряжению за кулисы доставляли корзины с провиантом: холодных цыплят и ростбиф, парниковую зелень, картофельный салат, свежий хлеб с маслом. Он любил смотреть, как актеры пируют, а сам смаковал моменты, когда они возвращались от своих ролей к обычной «цивильной» жизни. Он предвкушал долгие грядущие годы, когда будет писать для них новые реплики и наблюдать, как они порождают образы и воссоздают их каждый вечер, пока пьеса не сойдет со сцены и они не растворятся в реальном и таком призрачном мире снаружи.

Кроме того, Генри полагал, что как писатель он переживает нелегкие времена – редакторы и издатели проявляли к нему все меньше интереса. Всеобщим вниманием завладело новое поколение авторов, которых он не знал и не ценил. Подозрение, что с ним практически покончено, тяготило его. Издавали его мало, а публикации в периодических изданиях, когда-то столь прибыльные и полезные в творческом отношении, стали для него практически недоступными.

Он спрашивал себя, может ли театр стать не только источником удовольствия и развлечения, но и спасательным кругом, способом начать все сначала теперь, когда его потенциал прозаика, сдается, уже исчерпан. «Гай Домвиль», его драма о конфликте материальной жизни и жизни чистого созерцания, превратностях человеческой любви и жертвы во имя высшего счастья, была обречена на успех, до того она соответствовала настроением, витавшим в обществе, и он ждал премьеры со смесью чистого оптимизма, абсолютной уверенности, что пьеса угодит в цель, – и глубокого беспокойства, убеждения, что никогда не снискать ему всемирной славы и всеобщего одобрения.

Все решится в день премьеры. Генри старательно вообразил себе этот день во всех подробностях, не придумал только, что будет делать сам. Окажись он за кулисами, он всем будет мешать, а для того, чтобы сидеть в зрительном зале, он будет излишне возбужден, излишне склонен позволить любому стону, вздоху или зловещей тишине погрузить его в отчаяние или чрезмерное ликование. Возможно, ему следует затаиться в «Шутовском колпаке» – ближайшем к театру пабе, а Эдмунд Госс<sup>3</sup>, которому он всецело доверяет, мог бы подскочить в конце второго акта, чтобы шепнуть, как идут дела. Однако за два дня до премьеры Генри решил, что план абсурден.

Но куда-то же ему нужно было приткнуться. Поужинать было просто не с кем, ведь всех своих знакомых он пригласил на премьеру и большинство ответили согласием. Он мог бы отправиться в соседний город, подумал он, – осмотреть достопримечательности, а затем вернуться вечерним поездом к финальным аплодисментам. И все же он знал, что ничто не может отвлечь его от мыслей о предстоящей работе. Как бы ему хотелось быть уже на середине повести, не торопясь до самой весны, когда начнется публикация по частям. Он желал спокойно работать в своем кабинете при липнущем сереньком свете зимнего лондонского утра. Он жаждал остаться в одиночестве и утешаться убеждением, что его жизнь зависит не от толпы, а лишь от того, чтобы оставаться самим собой.

После долгих колебаний и обсуждений с Госсом и Александером он решил, что отправится на Хеймаркет посмотреть новую пьесу Оскара Уайльда. Он чувствовал, что это единственный способ относительно спокойно скоротать время между восемью тридцатью и десятью сорока пятью. Затем он мог бы отправиться в театр Сент-Джеймс. Госс и Александер согласились с ним, что это самый лучший план, единственный план. По крайней мере на какое-то время он отвлечется, а в театре Сент-Джеймс окажется уже в момент триумфа – когда пьеса подойдет к концу, а то и вовсе опустится занавес.

Вот так, думал он, облачаясь в вечерний костюм, чувствуют себя люди в реальном мире – мире, которого он избегал, о котором только смутно догадывался. Так зарабатываются деньги, так создается репутация. Это делается с азартом и риском, с ощущением пустоты в желудке, учащенным сердцебиением и головой, полной воображаемых перспектив. Сколько дней в его жизни будут похожи на этот? Если первая его пьеса принесет ему, как он рассчитывает, славу и богатство, грядущие премьеры будут проходить спокойнее и перенесет он их куда легче. И все же, даже поджидая кэб, он с особой остротой помнил, что принял за новую историю, что пустые страницы изнывают от ожидания, что он напрасно тратит вечернее время, вместо того чтобы сесть и писать. Шагая по направлению к Хеймаркету, он был готов дезертировать. Сейчас он отдал бы все на свете, чтобы на три с половиной часа перенестись в будущее и уже знать результат – ждут его овации и похвалы или ужасающий прыжок в презрительное забвение.

Когда кэб вез его к театру, он внезапно ощутил странное, новое, отчаянное одиночество. Это уже слишком, подумал он, он слишком уж много хочет. Он заставлял себя думать о декорациях, золотистом освещении, костюмах и о самой драме, о тех, кто принял приглашения, и испытывал только надежду и предвкушение. Он сам выбрал это, и теперь он это получил, он не должен жаловаться. Он показал Гроссу список тех, кто заполнит партер и бельэтаж, и Госс сказал, что зрительный зал Сент-Джеймса соберет такую плеяду аристократических, литературных и научных знаменитостей, какой никогда прежде не видел ни один лондонский театр.

Но в ярусах и на галерке будут сидеть – Генри помедлил и улыбнулся, зная, что если бы он сейчас писал, то остановился бы, пытаясь найти верный тон, – *настоящие* зрители, люди, заплатившие за билеты деньги, чья поддержка и аплодисменты будут значить куда больше, чем поддержка и аплодисменты его друзей. Это будут люди – он почти сказал это вслух – люди,

<sup>3</sup> Эдмунд Уильям Госс (1849–1928) – английский писатель, поэт и критик.

которые не читают моих книг и знать их не хотят. Мир – он усмехнулся, когда следующая фраза пришла ему в голову, – мир полон ими. Они всегда находят родственные души и сбиваются в стаи. Он уповал на то, что нынче вечером эти люди будут на его стороне.

Едва ступив на тротуар у театра Хеймаркет, он мгновенно позавидовал Оскару Уайльду. Благодушные зрители, вступавшие в фойе, выглядели как люди, намеренные от души поселиться. Он никогда в жизни не выглядел как они, не чувствовал себя так, как они, и как же, думал он, ему удастся провести эти пару часов среди людей, которые кажутся такими непринужденными, такими легкомысленными, такими жизнерадостными. Никто из тех, кто его окружал, – ни одно лицо, ни одна парочка, ни одна группа, – не выглядел как зритель, которому мог бы прийти по вкусу «Гай Домвиль». Этим театрам подавай счастливые развязки. Он с дрожью припомнил долгие споры с Александером из-за далеко не счастливого финала «Гая Домвиля».

Он пожалел, что не потребовал кресло с краю, у прохода. А на отведенном ему месте он оказался заперт среди публики, и, когда поднялся занавес и соседи начали хохотать над строками, которые он считал грубыми и неуклюжими, он почувствовал себя в ловушке. Сам он ни разу не засмеялся; он не просто не находил в пьесе ничего забавного – куда важнее, думал он, что здесь нет ничего правдивого. Каждая реплика, каждая сцена разыгрывались так, как будто бестолковость была высшим проявлением истины. Ни одна возможность не была упущена, чтобы выдать глупость за остроумие; самые примитивные, поверхностные бойкие фразочки вызывали в зале самый искренний и веселый смех.

Очевидно, он был единственным зрителем, полагавшим, что «Идеальный муж» – крайне слабая и вульгарная пьеса. В первом антракте он едва не сбежал. Но, по правде сказать, ему просто некуда было идти. Единственное утешение – это не премьерный спектакль, нет никого из светской публики, кого бы он узнал и кто мог бы узнать его. Самое утешительное, в зале не было ни самого Уайльда – излишне громогласного, крупного и ирландского, – ни его свиты.

Генри невольно задумался, что мог бы сделать с подобной историей он сам. Весь этот текст, от первой до последней строчки, был чистейшим издевательством над литературой, поделкой с дешевой претензией на остроумие, с грошовой моралью и куцей интригой. Обличение коррумпированного правящего класса было весьма поверхностным, сюжет состряпан кое-как, пьеса поставлена бездарно. Когда эта комедия сойдет со сцены, думал он, никто больше и не вспомнит о ней, и лишь он один не забудет ее из-за той муки, которую сейчас переживает, предельного обострения всех чувств, ведь его собственная пьеса идет сейчас в каких-то нескольких шагах. Его драма была об отречении, думал он, а поди объясни подобным людям, что это такое, – да они в жизни ни от чего добровольно не откажутся.

Когда он шагал к Сент-Джеймс-сквер, чтобы узнать свою судьбу, гром оваций после «Идеального мужа» звучал в его ушах погребальным звоном по «Гаю Домвилю», и, парализованный ужасным предчувствием, он остановился посреди площади, боясь зайти в театр и узнать больше.

Позже, спустя годы, из намеков и обрывков разговоров он сможет уяснить, что именно произошло в тот вечер. Всей правды он так и не узнал, но одно понял четко: столкновение между приглашенной «чистой» публикой и аудиторией из верхних ярусов было столь же непреодолимым, как пропасть между ним и его соседями по зрительному залу, когда он смотрел пьесу Оскара Уайльда. Как он понял, зрители, заплатившие за билеты, начали кашлять, шушукаться и гудеть еще до конца первого акта. Во втором акте выход миссис Эдвард Сакер, облаченной в причудливый старинный костюм, вызвал у них насмешки. Раз начав смеяться, они вошли во вкус, и дальнейшим издевательствам не было конца.

Уже через много-много лет он узнал, что когда Александер произнес финальную реплику: «Я, милорды, последний из Домвилей!» – кто-то с галерки крикнул: «Чертовская удача, что ваши все кончились!» Публика из верхних ярусов приветствовала эту выходку ревом

и улюлюканьем, занавес опускался под свист и оскорбительные выкрики, которые зрители партера и бельэтажа пытались заглушить энергичными аплодисментами.

В тот вечер он вошел в театр через служебный вход и по дороге наткнулся на помощника режиссера, который заверил его, что премьера прошла прекрасно и пьесу приняли хорошо. Что-то в тоне, которым это было сказано, вызвало у Генри желание продолжить расспросы, выяснить масштаб и значительность успеха, но именно тогда прозвучали первые хлопки, и он прислушался, принимая рев и свистки за выражение одобрения. Он мельком увидел Александра, когда тот покинул сцену и, выждав немного за кулисой, вышел на поклон. Подсознательно он удивился, насколько чопорно и скованно при этом выглядел его друг. Генри подошел ближе к сцене, уверенный, что Александр и другие актеры снискали небывалый успех, и по-прежнему считая улюлюканье и свист горячими приветствиями в адрес ведущих актеров, среди которых, несомненно, был и Александр.

Он стоял за кулисами достаточно близко к сцене, чтобы Александр, торопясь покинуть сцену, смог его заметить. Позже ему рассказывали, что его друзья в зрительном зале вопили изо всех сил: «Автора! Автора!», но все же эти крики были недостаточно громкими, чтобы он мог их слышать. Как бы то ни было, режиссер решительно и неумолимо взял его за руку и повел на сцену.

Вот его зрители, которых он так долго воображал в дни изнурительных репетиций. Он представлял их растроганными и покоренными. Он представлял их мрачными и равнодушными. Он не был готов к такому шуму, хаосу, взрыву эмоций. На мгновение он растерялся, затем поклонился. И только когда он распрямился и поднял голову, то начал понимать, с чем столкнулся. Зрители верхних ярусов шикали и освистывали его! Оглядывая их ряды, он встречал лишь издевку и презрение. Лояльная публика, явившаяся по пригласительным билетам, продолжала сидеть и добросовестно хлопать, но эти аплодисменты заглушал нарастающий шквал насмешливого и грубого осуждения, исходившего от людей, в жизни не читавших его книг.

Когда случалось нечто подобное, хуже всего была его полная неспособность контролировать выражение лица, скрыть подступившую панику. Сейчас он мог разглядеть лица друзей: Сарджента, Госса, Филипа Бёрн-Джонса<sup>4</sup>. Они преданно и добросовестно аплодировали, тщетно пытаясь уравновесить возмущение плебеев. Ничего подобного он не ожидал и был в полной растерянности. Он попятился со сцены, не став слушать речь Александра – тот, как мог, постарался утихомирить зрительный зал. Он винил Александра за то, что тот вывел его на сцену, винил толпу за то, что она освистала его, но больше всего винил себя за то, что вообще пришел сюда. Остается только потихоньку улизнуть через служебный вход. Он так мечтал о своем звездном часе, воображал, как будет общаться с приглашенными гостями и радоваться, что так много старых друзей явились засвидетельствовать его театральный триумф. Теперь же он побредет домой с низко опущенной головой, как человек, совершивший преступление и с минуты на минуту ожидающий ареста.

А пока что он затаился за кулисами, забился в самую густую тень, чтобы никто из актеров его не заметил. Надо выждать здесь, пока не рассосется толпа, – мало ли с кем он может столкнуться на улицах близ театра! Ни он, ни его друзья не будут знать, что сказать, таким сокрушительным и публичным был его провал. Для них эта ночь войдет в анналы светского умолчания – а ведь он так старался избежать появления своего имени на этих позорных страницах! Но минуты шли, и он понял, что сейчас не имеет права предать трупку, не может поддаться малодушному желанию затаиться тут в одиночку в темноте, а потом сбежать в ночь

---

<sup>4</sup> Джон Сингер Сарджент (1856–1925) – американский художник, один из наиболее успешных живописцев периода «прекрасной эпохи»; его кисти принадлежит самый известный портрет Генри Джеймса (1913), который находится в собрании Национальной портретной галереи в Лондоне. Филип Бёрн-Джонс (1861–1926) – английский живописец, сын прерафаэлиты Эдварда Бёрн-Джонса.

и держаться так, как будто он ничего не писал и вообще ни при чем. Ему придется пойти к актерам и поблагодарить их, придется настоять на том, что запланированный заранее праздничный банкет состоится. И так он дрожал в полумраке, напряженный, как струна, готовый подавить все свои естественные склонности и побуждения. Он сжал кулаки, намереваясь улыбаться, кланяться и изо всех сил вести себя так, точно это воистину вечер его триумфа, которым он полностью обязан талантливым актерам, хранящим верность великим традициям лондонской сцены.



## Глава 2

*Февраль 1895 г.*

После провала «Гая Домвиля» твердое намерение работать боролось в нем с горьким ощущением опустошенности и уязвимости. Он осознавал, что потерпел крах, что он раздавлен громадной плоской пятой публики и теперь совершенно очевиден печальный факт: ничто, созданное им прежде, больше не будет популярно и всеми признано. По большей части он мог, сделав над собой усилие, контролировать собственные мысли. Но он не мог унять мучительную утреннюю боль, ту боль, что теперь тянулась до полудня, а часто и вовсе не отпускала. Все-таки была в пьесе Оскара Уайльда одна строчка, которая ему пришлась по душе, что-то вроде: *туманы – следствие печали лондонцев или же ее причина?*<sup>5</sup> Его печаль, думал Генри, глядя на скудный просвет зимнего утра, сочащийся в окно, очень похожа на лондонский туман. Но этой печали, судя по всему, в отличие от тумана, не суждено рассеяться. С нею об руку идут непривычные для него слабость и апатия, шокирующая, приводящая в отчаяние летаргия.

Что, если, спрашивал он себя, однажды в недалеком будущем он совсем выйдет в тираж, станет даже менее популярен, чем нынче, что, если доходы от отцовского поместья иссякнут, – станут ли его стесненные обстоятельства поводом для публичного унижения? Все сводится к деньгам, к той сладостности, которую они приносят душе. Деньги – своего рода благодать. Где бы он ни бывал, деньги – обладание ими – разделяли людей, отличали их друг от друга. Мужчинам они дают восхитительную возможность управлять миром на расстоянии, а женщинам – уравновешенное чувство собственной значимости, внутренний свет, не меркнущий даже в преклонном возрасте.

Нетрудно было ощутить себя писателем для немногих, возможно опередившим свое время, писателем, которому не суждено при жизни наслаждаться плодами творчества, такими как собственный дом и сад, не тревожась о том, что ждет впереди. Он по-прежнему гордился принятыми решениями, тем, что никогда не шел на компромисс, что спина его ныла и глаза нестерпимо болели лишь из-за беззаветного, всedневногo труда ради искусства – труда чистого, не ограниченного корыстолюбивыми амбициями.

Для его отца и брата, как и для многих в Лондоне, провал на рынке в мире искусств был своего рода успехом, а успех не подлежал обсуждению. Он никогда в жизни не стремился к тяжкому бременю широкой популярности. И тем не менее ему хотелось, чтобы его книги продавались, хотелось блистать на рынке и набивать карманы, но только так, чтобы никоим образом не идти на компромисс в том, что касалось его священного искусства.

Для Генри имело значение, как он выглядит со стороны. И ему льстило слыть человеком, который палец о палец не ударил ради собственной популярности. Считаться тем, кто посвятил себя уединенному и бескорыстному служению благородному искусству, было для него большим удовлетворением. Впрочем, он прекрасно понимал, что недостаточный успех – это одно, а полный провал – совсем иное. И посему его провал на сцене театра – столь публичный, столь нашумевший и явный – заставил его неловко чувствовать себя в присутствии других людей и сторониться более широкого мира лондонского светского общества. Он чувствовал себя генералом, вернувшимся с поля боя после оглушительного разгрома, источающим дух поражения, чье присутствие в теплых и светлых лондонских гостиных кажется неуместным и гнетущим.

Он был знаком с лондонскими вояками. Он осмотрительно и осторожно ступал среди сильных мира сего, внимательно вслушиваясь в разговоры англичан о политических интригах и военной доблести. Сидя среди привычной коллекции богатых старинных доспехов в доме

---

<sup>5</sup> Ср.: «В Лондоне слишком много тумана и... и серьезных людей, лорд Уиндермир. То ли туман порождает серьезных людей, то ли наоборот – не знаю...» (О. Уайльд. Веер леди Уиндермир. Действие четвертое. Перев. М. Лорие).

лорда Вулзли<sup>6</sup> на Портман-сквер, он частенько думал, а что бы сказали его сестра Алиса и брат Уильям<sup>7</sup>, услышав после ужина здешние дремучие имперские военные бредни, насыщенные и жаркие дискуссии о войсках, об атаках, о кровавых побоищах. Алиса была в семействе самой горячей противницей империализма. Она даже любила Парнелла<sup>8</sup> и жаждала гомруля для Ирландии<sup>9</sup>. Уильяму тоже были свойственны проириландские настроения и, конечно, анти-английские взгляды.

Лорд Вулзли, как и все они, был человеком образованным, хорошо воспитанным и обаятельным. Глаза его глядели пронзительно, а на румяных щеках играли ямочки. Генри оказался в компании этих мужчин, потому что так пожелали их жены. Женщинам нравились его манеры, его серые глаза и американское происхождение, но наибольшее наслаждение им доставляло его умение слушать: он до дна выпивал каждое слово, задавал лишь уместные вопросы, жестами или репликами признавая высокий интеллект собеседницы.

Ему становилось гораздо легче, когда рядом не было других писателей, никого, кто читал его работы. Мужчины, собравшиеся после ужина ради анекдотов, занимали его не более, чем содержание их бесед. С другой стороны, женщины всегда были ему интересны, о чем бы они ни говорили. Леди Вулзли интересовала его чрезвычайно, поскольку она была само очарование – воплощение ума и симпатии, женщина с истинно американским обхождением и вкусом. Она имела обыкновение с интересом и неподдельным восхищением окинуть взглядом залу, полную гостей, а затем обратиться с улыбкой к тому, кто находится к ней ближе всех, и заговорить тихо и доверительно, будто по секрету.

Генри необходимо было уехать из Лондона, но он не вынес бы даже мысли о том, чтобы остаться в одиночестве где бы то ни было. Он не хотел обсуждать свою пьесу и сомневался, что сможет работать. Он решил, что если поедет в путешествие, то к его возвращению все переменится. Сознание его наполнилось видениями и идеями. Он молился и уповал, что плоды его воображения найдут достойное воплощение на бумаге. И это все, чего он хочет, теперь он уже истово верил.

Он поехал в Ирландию, потому что до нее было рукой подать, и он считал, что поездка не потребует от него нервного напряжения. Ни лорд Хотон – новоиспеченный лорд-лейтенант, отца которого он также знал, – ни лорд Вулзли, который стал главнокомандующим вооруженных сил ее величества в Ирландии, – не видели его пьесу. Генри пообещал провести неделю у каждого из них. Его наперебой приглашали и горячо спорили, сколько и с кем он пробудет, что немало удивило Генри. Только поселившись в Дублинском замке, он понял, в чем подвох.

Ирландия находилась в состоянии смуты, и правительство ее величества не только не сумело подавить беспорядки, но и было вынуждено пойти на уступки. То, что сравнительно нетрудно объяснить в парламенте, оказалось невозможно объяснить ирландским помещикам и местным гарнизонам, бойкотировавшим в этом сезоне все светские рауты, происходившие в Дублинском замке. Лорд Хотон очень зависел от «привозных» гостей, этим и объяснялся всплеск гостеприимства с его стороны.

<sup>6</sup> *Гарнет Джозеф Вулзли* (Уолсли), 1-й виконт Вулзли (1833–1913) – британский военачальник, фельдмаршал. Служил в Бирме, Китае, Канаде и Африке, участвовал в подавлении Восстания сипаев, блестяще провел Нильскую экспедицию против Махдистского Судана (1884–1885).

<sup>7</sup> *Уильям Джеймс* (в стар. изд. *Джемс*) (1842–1910) – американский философ и психолог. Один из основателей и ведущий представитель прагматизма и функционализма. Авторы учебных пособий и научных работ часто называют Уильяма Джеймса отцом современной психологии.

<sup>8</sup> *Чарльз Стюарт Парнелл* (1846–1891) – крупнейшая фигура ирландской политики конца XIX в. Харизматический лидер, он вплотную приблизился к осуществлению планов гомруля, достиг немалого сплочения нации и оживления национального сознания.

<sup>9</sup> *Гомруль*, или *хоумрул* (англ. Home Rule, «самоуправление») – движение за автономию Ирландии на рубеже XIX–XX вв. Предполагало собственный парламент и органы самоуправления при сохранении над островом британского суверенитета, то есть статус, аналогичный статусу доминиона.

В то время как старый лорд Хотон был человеком непринужденным как в поведении, так и в привычках, его сын держался официально и важно. Новая должность лорда-лейтенанта сделала его по-настоящему счастливым. Он горделиво вышагивал по дворцу и, похоже, был единственным, кто не осознавал: сколько бы он ни пыжился, он не имеет никакого значения. Лорд Хотон представлял королеву в Ирландии и делал это со всей церемонностью и скрупулезным вниманием к деталям, на какую только был способен, посвящая свой день инспекциям, приемам и приветствиям, а вечера – балам и банкетам. Он присматривал за своими владениями так, словно сама королева жила в резиденции и в любую минуту могла явиться и воссиять во всем своем имперском величии.

Маленький вице-королевский двор при всей своей помпезности был в равной мере изнурителен как для плоти, так и для духа Генри. За шесть дней здесь дали четыре бала, а банкеты проводились ежевечерне. Их наводнял простой чиновничий класс и военные, а дополняла очень скучная, второсортная, хоть и многочисленная компания английских гостей. По счастью, большинство никогда о нем слыхом не слыхивало, и он даже не пытался это изменить.

– Мой вам совет, – сказала ему одна английская дама, – зажмите нос, зажмурьте глаза и, если получится, заткните чем-нибудь уши. Сделайте это в ту самую минуту, как ступите на землю Ирландии, и до тех пор, пока не войдете в замок или резиденцию вице-короля или где вы там еще остановитесь.

Дама просто сияла от удовольствия. Он пожалел, что рядом нет его сестрицы Алисы, вот уже три года как покоившейся с миром, и некому устроить взбучку этой англичанке. Уж Алиса приберегла бы на потом целую речь и высказала бы все, что она думает о растительности на лице этой дамы, о ее зубах и о том, как она дала петуха, возвысив голос в назидательном раже.

– Надеюсь, я не слишком вас напугала? – улыбнулась дама. – У вас потревоженный вид.

Еще бы не встревожиться – ведь он специально уединился в этой комнатке с письменным столом, бумагой, чернильницей и парой книг, чтобы написать письмо. Внезапно ему пришло в голову, что наилучший способ отделаться от этой надоедливой дамы – замахать руками и шикнуть на нее, изгоняя, словно стаю гусей или кур.

– Но здесь очень мило, – продолжила она, – а балы в прошлом году давали просто ослепительнейшие, куда лучше, чем в Лондоне, скажу я вам.

Он уставился на нее с мрачным и, хотелось надеяться, тупым выражением на лице и ничего не сказал.

– Многим здешним обитателям есть чему поучиться у его светлости, – не унималась дама. – В Лондоне нас, знаете ли, регулярно принимали во многих именитых домах. Но мы не были знакомы с лордом Вулзли и, разумеется, не знали его жену. Лорд Хотон был настолько добр, что пригласил нас на вечер в узком кругу, который они устроили сразу после прибытия, и меня усадили рядом с ним, а мой супруг – человек очень добрый и состоятельный, позволю я себе заметить, и честный, – конечно, имел несчастье оказаться подле леди Вулзли.

Она умолкла, чтобы набрать воздуха в легкие и поднять свой негодующий тон на ступень выше.

– Так вот, лорд Вулзли, должно быть, обучился какой-то системе знаков на одной из своих войн и тайно науськал жену, чтобы она пренебрегала моим мужем, как сам он игнорировал меня. Неслыханная грубость с его стороны! И с ее тоже! Лорд Хотон со стыда сгорал. Эти Вулзли – крайне, крайне неучтивая пара, в этом я убедилась.

Генри считал, что разговор этот пора прекратить, но дама, судя по всему, весьма остро реагировала на грубость. Тем не менее он чувствовал, что грубость в данном случае не так страшна, как перспектива слушать ее болтовню еще несколько минут.

– Прошу простить, но мне немедленно нужно вернуться к себе в комнаты, – сказал он.

– Подумать только, – ответила она.

Дама торчала в дверном проеме, загораживая собой выход. Когда он направился в ее сторону, она даже не шелохнулась. На лице ее застыла обиженная усмешка.

– И теперь нас, конечно же, в Королевский госпиталь не пригласят. Мой супруг говорит, что мы не пошли бы, даже если бы нас и позвали, но лично мне интересно посмотреть, а приемы, говорят, там бывают отменные, несмотря на грубость хозяев. И молодой мистер Уэбстер, член парламента, собирался туда – муж говорит, он подает большие надежды и однажды станет премьер-министром.

Она умолкла на мгновение, рассматривая его макушку, а потом ущипнула себя за щеку и продолжила:

– Но мы для них недостаточно хороши, я мужу так и сказала. Зато у вас огромное преимущество. Вы американец, и никто не знает, кем были ваш отец или дед. Вы можете быть кем угодно.

Он стоял и холодно наблюдал за ней с противоположного края ковра.

– Не хочу никого обидеть, – добавила она.

Он по-прежнему молчал.

– Наоборот, я имею в виду, что Америка кажется весьма демократической страной.

– Вам там будут очень рады, – сказал он и поклонился.

Два дня спустя он совершил переезд через весь город из Дублинского замка до Килмэнхэма, где располагался Королевский госпиталь. Ирландию он видел и прежде, во время путешествия в Дублин из Куинстауна, что в графстве Корк. Он ненадолго останавливался и в Кингстауне. Ему понравился городок – море, маяк, общее ощущение покоя и порядка. Но теперешняя поездка напомнила Генри, как он проехал тогда через всю страну, наблюдая повсюду убожество – убожество одновременно жалкое и неистребимое. Во время той поездки он часто не мог отличить почти полностью развалившиеся хижины от землянок, в которых по-прежнему жили люди. Все вокруг казалось разрушенным – или почти разрушенным. Из полусгнивших труб сочился дым, и кто бы ни показался из дверей этих хижин, он непременно кричал что-то вслед проезжей карете или злобно устремлялся к ней, если она замедляла ход. Недобрые, обвиняющие взгляды темных глаз преследовали его, и ни минуты он не чувствовал себя свободным.

Дублин в каком-то смысле был иным. Там разница между нищим классом и теми, кто обладал деньгами и воспитанием, была не такой разительной. Но и здесь ирландская разруха, подступавшая к самым воротам замка, терзала Генри и приводила в уныние. Теперь в окна служебной кареты, везущей его из замка в Королевский госпиталь, он явственно видел, как усилилась угрюмость ирландцев. Он и хотел бы отвести взгляд, да не мог. Последние несколько улочек были слишком узки, чтобы не замечать убожество лиц и жилищ, избавиться от ощущения, что каждую минуту дорогу могут преградить назойливые женщины и дети. Будь Уильям рядом, у него нашлась бы пара крепких словечек для этого заброшенного, обнищавшего подворья.

Он испытал облегчение, когда карета покатила по аллее, ведущей к Королевскому госпиталю, – его поразили величавость здания, благородная симметрия, изящество и ухоженность территории. Он усмехнулся возникшей вдруг мысли, что это подобно вхождению в райское царство после тяжелого и ухабистого пути из глубин чистилища. Даже челядь, вышедшая поприветствовать его и позаботиться о багаже, выглядела иначе, сообразно райским меркам. Ему хотелось потребовать, чтобы слуги тотчас захлопнули ворота и спасли его от необходимости снова лицезреть городскую нищету хоть на какое-то время.

Генри знал, что госпиталь был построен в семнадцатом веке для старых солдат, и во время первой ознакомительной экскурсии ему сообщили, что сто пятьдесят постояльцев и сейчас населяют комнаты в этих длинных коридорах, выходящих на центральную площадь, счастливо доживая свой век в роскошном окружении. И когда леди Вулзли извинилась перед ним за такое соседство, Генри сказал ей, что он и сам в каком-то смысле старый солдат, или во

всяком случае стареющий, так что здесь он непременно почувствует себя как дома, если для него найдется какая-нибудь кровать.

Окна его комнаты смотрели в противоположную сторону от госпиталя – на реку и парк. Утром, проснувшись рано, он увидел белый туман, стелившийся над лужайками. Он заснул снова, на сей раз глубоким и безмятежным сном, и пробудился оттого, что кто-то на цыпочках передвигался в полутьме комнаты.

– Я принес вам горячей воды для умывания, сэр, и наполню ванну – в любое время, когда вам будет удобно. – Голос был мужской, с английским выговором, мягкий и успокаивающий. – Ее светлость сказали, что вы, если пожелаете, можете позавтракать у себя.

Генри попросил набрать ванну немедленно и подать завтрак в комнату. Он прикинул, как ее светлость воспримет его полное отсутствие вплоть до обеда, и решил, что его искусство может служить ему лицензией на уединение. Перспектива провести утро в компании пейзажа за окном и стройных пропорций комнаты очень его обрадовала.

Когда он спросил у слуги его имя, то оказалось, что тот не слуга вовсе, а капрал, один из огромного множества армейских, находившихся в распоряжении четы Вулзли. Капрала звали Хэммондом, у него был мягкий голос, от него веяло спокойствием и благоразумием. У Генри сразу же возникло ощущение, что капрал Хэммонд был бы нарасхват в качестве камердинера, если бы армия когда-нибудь перестала в нем нуждаться.

За обедом, как он и ожидал, разговор коснулся событий в Дублинском замке.

– И все-таки эти ирландцы кошмарны, – сказала леди Вулзли, – и слава богу, что они не посещают светские рауты в этом сезоне, это большое облегчение. Угрюмые мамы таскают за собой своих угрюмых дочек, надеясь подцепить хоть какую-нибудь партию для них. Суровая правда в том, что никто не хочет жениться на их дочерях, никто совершенно.

Присутствовали пятеро гостей из Англии, двоих он знал шапочно. Он отметил их молчание, улыбки на лицах и внезапные взрывы смеха, когда хозяин с хозяйкой развлечения ради пикировались друг с другом.

– Значит, лорд Хотон считает, – продолжила леди Вулзли, – что он королевское семейство в Ирландии, а у королевского семейства первым делом должны быть подданные. А поскольку ирландцы отказываются быть его подданными, он импортировал себе целый двор подданных из Англии. Я уверена, мистер Джеймс слишком хорошо знает об этом.

Он молчал и удержался на всякий случай от любых жестов, которые могли бы означать согласие.

– Он зазывает всех подряд. И нам пришлось выручать мистера Джеймса, – прибавил ее супруг.

Генри хотел было сказать, что лорд Хотон – отличный хозяин, но счел благоразумным не участвовать в этом разговоре.

– А чтобы все это выглядело пристойно и весело, – продолжила леди Вулзли, – он устраивает балы и банкеты. Бедный мистер Джеймс приехал сюда совершенно обессиленным. А лорд Хотон на прошлой неделе зазвал нас к себе в апартаменты на ужин. И вечер, само собой, выдался зверски душевный. Меня усадили рядом с каким-то невежей, а лорд Вулзли оказался возле невежиной жены, очень грубой особы. Ее супруг хотя бы сообразил в итоге, что лучше ему помалкивать, но жена не была настолько хорошо вышколена. Нет, мы, конечно, ничего против них не имеем, отнюдь.

В тот вечер, когда он уходил к себе, леди Вулзли провожала его по одному из длинных коридоров. По ее тону Генри понял, что она готова поведать ему кое-что по секрету об остальных гостях.

– Довольны ли вы Хэммондом? – спросила она. – Простите, что не смогла лично встретить вас по прибытии.

– Он великолепен, лучше и быть не может.

– Да, я потому его и выбрала, – сказала леди Вулзли. – Он очень обаятелен и в то же время сдержан, правда? – Она изучала выражение его лица; он ничего не ответил. – Да, полагаю, вы согласитесь со мной. Он служит только вам одному и, разумеется, полностью в вашем распоряжении в любое время. Думаю, он почитает за честь заботиться о вас. Я сказала ему, что, когда мы все умрем и канем в забвение, только вас будут помнить, читая ваши книги. И он сказал нечто очень милое, а голос у него такой тихий и приятный. Он сказал: «Я сделаю все, чтобы он был здесь счастлив». Так просто! Но в искренности его я не сомневаюсь.

Они подошли к подножию лестницы. Лицо ее, казалось, излучало измышления и намеки. Он кротко улыбнулся и пожелал ей доброй ночи. Поворачивая на следующий лестничный пролет, он заметил, что она по-прежнему внимательно смотрит ему вслед и странно улыбается.

Шторы в его гостиной были задвинуты, в камине пылал огонь. Вскоре пришел Хэммонд с кувшином воды.

– Посидите допоздна, сэр?

– Нет, я очень скоро лягу.

Хэммонд был высок, черты его лица при свете огня в камине теперь казались тоньше и мягче. Он подошел к окну и расправил шторы, а затем присел у камина и поворошил угли, чтобы огонь разгорелся сильнее.

– Надеюсь, я не беспокою вас, сэр, но уголь уж больно неподатливый попался, – произнес он почти шепотом.

Генри сидел в кресле у огня.

– Нет, продолжайте, пожалуйста, – сказал он.

– Принести вам вашу книгу, сэр?

– Книгу?

– Ту, которую вы читали. Я могу за ней сходить, сэр, она в другой комнате.

Карие глаза Хэммонда, внимательно изучавшие его лицо, глядели дружески, почти лукаво. Он не носил ни бороды, ни усов. Он стоял неподвижно в желтоватом свете газового рожка с таким непринужденным видом, словно то, что Генри не нашелся с ответом, было для него вполне ожидаемым.

– Пожалуй, я не стану читать перед сном, – медленно выговорил Генри. Он улыбнулся, поднимаясь с кресла.

– Я, кажется, побеспокоил вас, сэр.

– Нет, прошу вас, не тревожьтесь. Пора ложиться.

Он протянул Хэммонду полкроны.

– О, благодарю вас, сэр, но это совершенно излишне.

– Пожалуйста, возьмите, мне бы этого хотелось, – сказал он.

– Очень признателен, сэр.

К обеду на следующий день прибыли еще гости, обжившие пустые комнаты и коридоры в апартаментах лорда и леди Вулзли. Вскоре повсюду зазвучал смех и веселые голоса. Чета Вулзли объявила, что они дадут собственный бал, а леди Вулзли прибавила, что он мог бы послужить для обитателей замка хорошим уроком, как устраивать пристойные балы, пребывая вдали от дома. Однако когда она упомянула о маскарадных костюмах, Генри запротестовал, сказав, что он слишком старомоден, чтобы наряжаться. Во время разговора с леди Вулзли, который состоялся ближе к вечеру, когда она продолжала настойчиво уговаривать его одеться в военную форму, а он настоятельно отнекивался, некий молодой человек из новоприбывших перебил их. Он был напорист, самоуверен и явно ходил в фаворитах у леди Вулзли.



– Мистер Джеймс, – сказал он, – моя жена хочет представлять Дейзи Миллер<sup>10</sup>, возможно, вы могли бы дать нам совет насчет костюма?

– Никто не может быть Дейзи Миллер, – сказала леди Вулзли. – Наше правило для дам: мы представляем портреты Гейнсборо, Ромни или сэра Джошуа<sup>11</sup>. И скажу вам, мистер Уэбстер, я собираюсь затмить всех.

– Как ни странно, – ответил молодой человек, – нынче утром моя жена сказала то же самое – слово в слово. До чего поразительное совпадение!

– Никто не может быть Дейзи Миллер, мистер Уэбстер, – грозно повторила леди Вулзли, будто разгневавшись, – и прошу не забывать, что мой муж командует армией, а также имейте в виду, что некоторые старые пансионеры бывают очень свирепы, если их раззадорить.

Чуть позже Генри отвел леди Вулзли в сторонку.

– Помилуйте, кто такой этот мистер Уэбстер? – спросил он.

– О, мистер Уэбстер – член парламента. Лорд Вулзли считает, что он далеко пойдет, если сможет не умничать. А еще лорд Вулзли говорит, что он слишком много разглагольствует в палате лордов и это ему тоже следует прекратить. У него очень богатая жена. Зерно или мука, кажется, а может, и овес. Не важно, в любом случае – деньги. У нее есть деньги, а у него – все, что душа пожелает, кроме чувства такта. Вот поэтому я так рада, что вы здесь. Может, вы сумеете обучить его этому хоть чуть-чуть.

Хэммонд был ирландцем, но имел лондонский выговор, поскольку его еще ребенком вывезли в Англию. Казалось, его обязанности доставляли ему удовольствие, и он старался растянуть его, заводя разговоры во время уборки. Он извинялся всякий раз, когда входил или выходил, и Генри дал понять, что ему он нисколько не мешает.

– Мне нравится госпиталь, сэр, и его старые солдаты, – мягко произнес он. – Большая часть их жизни прошла на войне, и некоторые до сих пор воюют день-деньской, сэр. Они думают, что окна и двери – это турки, или зулусы, или еще кто, и так и норовят им наподдать. Забавное тут место, сэр. Полу-Ирландия, полу-Англия, как и я сам. Может, поэтому я чувствую себя здесь совсем как дома.

Его присутствие по-прежнему оставалось необременительным и желанным. Несмотря на высокий рост, он был проворен и передвигался легко и бесшумно. И никогда не опускал взгляд, глаза его всегда смотрели прямо, словно уравнивая своего обладателя с тем, что он видел, мгновенно воспринимая все и все понимая. Казалось, он выносит спокойные суждения прямо на ходу.

– Ее светлость сказала, что мне следует прочесть одну из ваших книг, сэр. Она говорит, они очень хороши. Я бы с удовольствием прочел их, сэр.

Генри пообещал Хэммонду, что пришлет ему книгу по возвращении в Лондон. На адрес Королевского госпиталя.

– Для Тома Хэммонда, сэр. Капрала Тома Хэммонда.

Каждый раз, когда Генри возвращался к себе в комнаты после трапезы или прогулки, Хэммонд находил предлог, чтобы зайти. И повод всегда был достойный. Он никогда не бездельничал, не создавал лишнего шума, но мало помалу, с течением времени, он становился все более непринужденным, беседовал неспешно, стоя у окна, задавал вопросы или внимательно слушал Генри.

---

<sup>10</sup> *Дейзи Миллер* – главная героиня одноименной повести Генри Джеймса (1878).

<sup>11</sup> *Томас Гейнсборо* (1727–1788) – английский живописец и рисовальщик, крупнейший мастер национальной школы живописи. *Джордж Ромни* (1724–1802) – видный английский художник-портретист и график. *Джошуа Рейнольдс* (1723–1792) – знаменитый английский исторический и портретный живописец, теоретик искусства; первый президент Королевской академии художеств, член лондонского королевского общества.

– Вот вы прибыли из Америки в Англию, сэр. Большинство делает наоборот. Вам нравится Лондон, сэр? Наверняка нравится.

Генри кивнул и сказал, что любит Лондон, но постарался объяснить, что там ему порой бывает трудно сосредоточиться на работе – слишком много приглашений и всяческих отвлекающих моментов.

Сидя за столом во время трапез, посреди чужих разговоров и смеха, безуспешных попыток приятно провести время, он с замиранием сердца думал о том, как Хэммонд войдет в его комнату. Этого момента он ждал, и ожидание занимало все его мысли за обедом, пока леди Вулзли и мистер Уэбстер состязались друг с другом в остроумии. Он думал о Хэммонде, представлял, как тот стоит у окна гостиной и слушает. Однако, оказавшись у себя в комнатах, после нескольких вопросов Хэммонда или собственных попыток что-то ему объяснить, он снова затосковал о тишине, захотел, чтобы Хэммонд немедленно ушел.

Он знал, что все, что он сделал в жизни, и, конечно же, все, что он написал, история его семьи, годы, проведенные в Лондоне, показались бы Хэммонду странными до невероятности. И все же временами в присутствии Хэммонда он чувствовал, что они близки, чувствовал подъем во время беседы между ними. Но потом Хэммонд начинал рассказывать о своей жизни, о своих надеждах или взглядах на мир, и огромная даль возникала между ними, становясь еще более огромной, поскольку Хэммонд не осознавал ее и продолжал свои честные, откровенные и – Генри пришлось это признать – подспудно утомительные излияния.

– Если бы случилась война между Великобританией и Соединенными Штатами, кому бы вы остались верны, мистер Джеймс? – спросил его Уэбстер во время послеобеденного затишья.

– Я остался бы верен делу восстановления мира между ними.

– А если бы это не удалось? – не унимался Уэбстер.

– Я совершенно случайно знаю ответ, – вмешалась леди Вулзли. – Мистер Джеймс выяснил бы, на чьей стороне Франция, и присоединился бы к ней.

– Но в рассказе мистера Джеймса об Агате Грейс его американец на дух не переносит англичан и высказывает о нас преужаснейшие вещи. – Зычный голос Уэбстера теперь привлек внимание всех, сидящих за столом. – Думаю, пора бы дать ответ за это, – продолжил Уэбстер.

Генри глянул через весь стол на мистера Уэбстера, у которого щеки покраснелись в жаркой комнате, а глаза возбужденно блестели, ведь он заставил такую аудиторию сосредоточенно наблюдать за тем, как он ведет словесную дуэль.

– Мистер Уэбстер, – тихо произнес Генри, убедившись, что молодой человек наконец договорил, – я пережил войну, видел раны и разрушения, которые она принесла. Мой родной брат был на краю смерти во время Гражданской войны в Америке. Его раны невозможно описать словами. Я, мистер Уэбстер, не могу легкомысленно говорить о войне.

– Вот, слушайте, – сказал лорд Вулзли. – Золотые слова!

– Да я лишь задал мистеру Джеймсу простой вопрос, – сказал Уэбстер.

– И он дал вам очень простой ответ, который вы, по всей видимости, не вполне способны понять, – ответил лорд Вулзли.

Пока лорд и леди Вулзли завершали приготовления к балу, наставляя присутствующих гостей насчет деталей организации и рассадки и уделяя массу времени присмотру за украшением главной залы, начали прибывать новые приглашенные, и среди них дама, которую Генри уже несколько раз встречал у леди Вулзли. Даму звали Гэйнор, ее покойный супруг прежде занимал какой-то важный армейский пост. Вдова Гэйнор приехала вместе с дочкой Моной, лет десяти или одиннадцати, и поскольку девочка оказалась здесь единственным ребенком, то ее красота и естественные манеры были у всех на устах и вызвали множество восторгов. Движе-

ния Моны были изящны, ей удавалось выглядеть вполне счастливой, хотя она не болтала без умолку, ничего не требовала, чем и очаровала всех вокруг.

В день накануне бала на Дублин обрушился сильный холод, заставивший Генри пораньше вернуться с прогулки. Ему случилось пройти мимо небольшой комнаты на первом этаже, принадлежавшей к апартаментам Вулзли. Леди Вулзли разбирала парики, чтобы дамы могли примерить их до обеда, с нею был мистер Уэбстер, и Генри остановился в дверях, собираясь заговорить с ними. Они были поглощены игрой – выбирали парик, внимательно рассматривали и со смехом передавали его друг другу, словно заговорщики в каком-то счастливом сне: леди Вулзли заставила Уэбстера примерить парик, а сама с хохотом отпрянула, когда он попытался надеть парик ей на голову. Они были так увлечены друг другом, что Генри не решился их прервать. Внезапно он заметил, что в одном из кресел сидит девочка Мона. Она ничего не делала: не участвовала в забавах у круглого стола, не смеялась очередной шутке, из-за которой леди Вулзли развернулась к Уэбстеру, прикрыв ладонью рот.

Мона была само совершенство в девичьем облике, но, понаблюдав за ней, Генри заметил, как сосредоточенно она созерцает сценку, что разворачивалась перед ней. Во взгляде ее не было ни растерянности, ни обиды, но чувствовалось, что она прилагает усилие, чтобы сохранять милый и непринужденный вид.

Он попятился от двери как раз в ту минуту, когда леди Вулзли разразилась хохотом в ответ на какую-то реплику мистера Уэбстера. Бросив последний взгляд на Мону, Генри заметил на ее лице усмешку, как будто шутка имела удовольствие рассмешить ее; все в ней усиленно опровергало тот факт, что она находится там, где ей не следует быть, слушая словечки и инсинуации, не предназначенные для ее ушей. Генри вернулся к себе в комнаты.

Он обдумывал сцену, свидетелем которой стал, такую живую и знакомую, словно уже не раз видел ее прежде, изучив до мельчайших подробностей. Он сел в кресле и позволил воображению нарисовать другие комнаты и другие дверные проемы, и как другие глаза безмолвно перемигиваются в его незаметном присутствии, и прочитывал во всем этом двусмысленный подтекст. Внезапно его осенило: он ведь только и делал, что описывал подобное в своих книгах, фигуры в окне или за приоткрытой дверью, незначительный жест, выдающий куда более значительные отношения, нечто тайное, вдруг ставшее явным. Он писал об этом, но лишь теперь впервые увидел наяву, и все равно не был до конца уверен, что это означает. Он снова представил всю картинку, девочку, столь невинную, что ее невинность резко контрастировала с окружающей сценой. Казалось, дитя было способно вобрать в себя все: малейший нюанс или крохотную деталь.

Он поднял глаза и встретил спокойный взгляд Хэммонда.

– Надеюсь, сэр, я вас не побеспокоил. В такую погоду нужно постоянно поддерживать огонь. Я постараюсь не шуметь.

Генри сообразил, что в миг, когда он очнулся от раздумий, Хэммонд беспрепятственно его рассматривал. А теперь наверстывал упущенное, стараясь быстрее двигаться, делая вид, что собирается унести ведро с углем без лишних разговоров.

– Вы видели маленькую девочку – Мону? – спросил его Генри.

– В последнее время, сэр?

– Нет, вообще, с тех пор как она приехала.

– Да, я все время встречаю ее в коридорах, сэр.

– Непривычно видеть ребенка совершенно одинокого – здесь нет никого, близкого ей по возрасту. У нее имеется няня?

– Да, сэр. И няня, и мать.

– А чем же она занимается день напролет?

– Бог ее знает, сэр.

Хэммонд снова рассматривал его, изучая внимательно и настойчиво почти до неприличия.

Генри в ответ пристально посмотрел на него, стараясь сохранять невозмутимость, насколько это возможно. Когда Хэммонд наконец отвел глаза, вид у него был задумчивый и подавленный.

- У меня есть сестра Мониных лет. Такая же хорошенькая.
- В Лондоне?
- Да, сэр. Она у нас самая младшенькая, сэр. Наш свет в окошке.
- И Мона вам ее напоминает?
- Моя сестричка не бродит где ни попадя. Она настоящее сокровище.
- Но ведь Мона тоже под неусыпной опекой няни и, конечно же, своей матери?
- Уверен, так оно и есть, сэр.

Хэммонд потупился, вид у него был озабоченный, он будто хотел что-то сказать, но ему помешали. Повернувшись к окну, он застыл неподвижно. Свет выхватил половину его лица, а вторая осталась в тени. В комнате было так тихо, что Генри слышал его дыхание. Оба не двигались и молчали.

Генри явственно осознал, что если бы кто-то сейчас видел их со стороны, если бы этот кто-то остановился в дверях, как он сам стоял там чуть ранее, или умудрился бы разглядеть их через окно, то этим посторонним наблюдателям могло показаться, что между Генри и Хэммондом произошло нечто очень важное, а молчание повисло просто потому, что многое было сказано. Неожиданно Хэммонд коротко выдохнул и улыбнулся ему мягко и добродушно, а потом взял со стола поднос и вышел из комнаты.

В тот вечер за ужином Генри оказался рядом с лордом Вулзли и таким образом был избавлен, как он думал, от Уэбстера. Дама, сидевшая от него по другую сторону, прочла несколько его книг. Ее весьма впечатлили концовки романов да и сама идея того, что американец живописует английскую жизнь.

– Должно быть, вы находите нас довольно маловыразительными по сравнению с американцами. Сестры лорда Уорбертона из вашего романа выглядят довольно маловыразительными. А вот Изабелла<sup>12</sup> вовсе не маловыразительна, и Дейзи Миллер тоже. Начни Джордж Элиот<sup>13</sup> описывать американцев, она бы тоже сделала их довольно маловыразительными.

Воистину, ей доставляло удовольствие словосочетание «довольно маловыразительные», и она втыкала его где только могла.

Уэбстер тем временем никак не унимался, стараясь возобладать над всем столом. Закончив дразнить всех женщин по поводу того, что те не смогут, не захотят или, возможно, не решатся надеть на бал, он взялся за романиста.

– Мистер Джеймс, а вы собираетесь навестить кого-то из своих ирландских родственников, пока вы здесь?

– Нет, мистер Уэбстер, у меня нет подобных намерений, – отвечал он холодно и твердо.

– Почему же, мистер Джеймс? Ведь дороги благодаря войскам под неусыпным командованием его светлости нынче стали совершенно свободными от мародеров. Уверен, ее светлость предоставит карету в ваше распоряжение.

– Мистер Уэбстер, я не имею таких намерений.

---

<sup>12</sup> Лорд Уорбертон, Изабелла Арчер – персонажи романа «Женский портрет» (1881).

<sup>13</sup> Джордж Элиот (Мэри Анн Эванс, 1819–1880) – английская писательница, мастер психологического реализма; один из самых популярных авторов Викторианской эпохи.

– Как там бишь его, это местечко, а, леди Вулзли? Бейлиборо, да-да, Бейлиборо в графстве Каван. Именно там находится резиденция семейства Джеймс.

Генри заметил, как леди Вулзли покраснела и отвела взгляд. А он смотрел только на нее, и ни на кого больше, а потом повернулся к лорду Вулзли и тихо произнес:

– Мистер Уэбстер все не угомонится.

– Да, пребывание в казармах могло бы в целом исправить его поведение, – ответил лорд Вулзли.

Уэбстер не слышал этого краткого диалога, но видел, как собеседники понимающе улыбнулись друг другу, и это порядком его взбесило.

– Мы с мистером Джеймсом, – пророкотал лорд Вулзли на весь стол, – сошлись во мнении, что вы, мистер Уэбстер, обладаете недюжинным талантом быть услышанным. Вам следует подумать над тем, чтобы с большей пользой употребить его. – Лорд Вулзли посмотрел на свою жену.

– Однажды мистер Уэбстер станет великим парламентским оратором, – вступилась леди Вулзли.

– Как только овладеет искусством молчания, он, конечно же, станет великим оратором, может быть, даже более великим, чем сейчас, – сказал лорд Вулзли и снова повернулся к Генри.

Оба прилежно игнорировали противоположный конец стола. Генри будто оглушило сильнейшим ударом, и он, делая вид, что слушает лорда Вулзли, тайком сконцентрировал всю свою энергию на недавно сказанных словах.

Его не волновала открытая враждебность Уэбстера. Он больше никогда, чаятельно, его не увидит, и лорд Вулзли четко дал понять, что Уэбстер больше рта не раскроет за этим столом. Но вот насмешку, промелькнувшую на лице леди Вулзли, когда Уэбстер упомянул Бейлиборо, Генри запомнил. Она быстро спохватилась, но он заметил насмешку, и она видела, что он заметил. Случайно она возникла или намеренно, Генри был шокирован в любом случае. Он знал, что ничем ее не спровоцировал. А еще он знал, что Уэбстер и леди Вулзли обсуждали его самого и то, что его семья родом из графства Каван. Однако он не знал, откуда они получили эту информацию.

Жаль, что он не может уехать немедленно. Когда он оглядел стол, то мельком увидел леди Вулзли, усиленно общавшуюся со своим соседом. Действительно ли у нее был пристыженный вид, или он это вообразил, потому что ему просто хотелось, чтобы ей было стыдно? – терялся он в догадках. Осторожно кивнув, когда повествование лорда об одной из его военных кампаний подошло к концу, он улыбнулся тому как можно теплее.

Когда Уэбстер встал, по его взволнованному лицу Генри понял, что тот близко к сердцу воспринял реплику лорда Вулзли о молчании. Генри знал, да и Уэбстер, должно быть, тоже, что лорд Вулзли говорил настолько жестко, насколько был способен за пределами военного трибунала. К тому же слишком уж быстро подросла защита леди Вулзли. Лучше бы она промолчала вовсе. Теперь для Генри было важно добраться до своих комнат и не пересечься с Уэбстером или леди Вулзли, которые сейчас по-прежнему находились в столовой, держаться от обоих подальше и не оказаться напрямую вовлеченным в какой-либо разговор.

В его комнатах горели газовые рожки и ярко пылал камин. Хэммонд будто предвидел, что он рано вернется. До чего прекрасна была гостиная – старое дерево, мерцающие тени, длинные темные бархатные шторы. Удивительно, думал он, до чего прикипел он к этим комнатам, как нуждался он в их тишине и покое.

Генри только устроился в кресле у огня, как вошел Хэммонд с чаем на подносе.

– Я заметил вас в коридоре, сэр, у вас был неважный вид.

А он Хэммонда не заметил, и оттого, что тот видел его бредущим из столовой, почувствовал себя еще более несчастным.

– Вы выглядели так, словно увидели призрак, сэр.

– Смотрел я только на живых, – возразил Генри.

– Я принес вам чай, сэр, и проверил, хорошо ли топится камин в спальне. Вам необходим хороший ночной отдых, сэр.

Генри не ответил. Хэммонд придвинул маленький стол, поставил поднос и начал наливать чай.

– Хотите принесу вам книгу, сэр?

– Нет, благодарю вас. Пожалуй, я посижу здесь, выпью чаю и отправлюсь спать, как вы советуете.

– У вас озноб, сэр. Вы хорошо себя чувствуете?

– Да, большое спасибо.

– Я мог бы заглянуть ночью, если хотите, сэр.

Хэммонд направился в спальню. Он посмотрел через плечо с таким безмятежным видом, словно не сказал ничего необычного. Генри сомневался, понимает ли он сам, было ли сделанное ему предложение невинным или не было? Он был уверен лишь в собственной уязвимости и поймал себя на том, что затаил дыхание.

Поскольку Генри не ответил, Хэммонд остановился, и глаза их встретились. На лице Хэммонда было написано лишь умеренное участие, но Генри не мог определить, что под ним скрыто.

– Нет, спасибо, я утомился и, думаю, хорошо посплю.

– Вот и славно, сэр. Я проверю спальню и оставлю вас поживать.

Генри лег в постель и задумался о доме, в котором находился, – доме, полном дверей и коридоров, странных скрипов и таинственных ночных шорохов. Он думал о хозяйке этого дома, о мистере Уэбстере и его насмешливом тоне. Как жаль, что он не может уехать немедленно, сей же час упаковать вещи и перебраться в городскую гостиницу. Но он знал, что это невозможно – бал назначен на завтрашний вечер и его преждевременный отъезд будет слишком оскорбителен. Он уедет наутро после бала.

Он знал, что хозяйка затеяла против него заговор, и эта рана больно саднила. Он подумал о том, что болтал Уэбстер. Генри никогда не упоминал о графстве Каван при ком-то из окружения леди Вулзли. В этом знании не было ни тайны, ни повода для стыда, хотя своим насмешливым тоном Уэбстер намекал именно на это. Просто в графстве этом родился его дед, и его отец в последний раз навещался туда почти шестьдесят лет назад. Что оно значило для самого Генри? Его отец приехал в Америку в поисках свободы и нашел там даже больше. Он обрел огромное состояние, и это все изменило. Для Генри графство Каван не стоило даже упоминания.

Он заложил руки за голову. В спальне было темно, огонь в камине еле теплился. Его неотступно тревожила мысль о том, как мучительно ему хочется, и теперь, в этом странном доме хочется даже больше, чем всегда, чтобы кто-нибудь обнял его, ничего не говоря, даже не двигаясь, – просто обнял бы его и остался с ним. Сейчас это было ему необходимо, и, заставив себя сказать это, он приблизил нужду, сделал ее более насущной и еще более несбыточной.

Назавтра поздним утром он сидел у окна, созерцая чистое голубое небо над Лиффи. Это был еще один зябкий день, но на лужайке, к своему удивлению, он увидел девочку Мону – без шляпки и совершенно одну. Сам он уже прогулялся с утра пораньше и был рад вернуться в дом. Он обратил внимание, что девочка кружится, раскинув руки. Генри окинул взглядом просторную лужайку в поисках няни или мамы, но их там не оказалось.

Если бы кто-то ее увидел, подумал Генри, он почувствовал бы то же самое. Ее надо уберечь – лужайка слишком велика, вокруг слишком широкое, никем не охраняемое пространство. Как ужасно, что она оказалась там этим холодным мартовским утром совершенно



беззащитная. Она по-прежнему двигалась примерно в центре лужайки, то почти бежала, то останавливалась, следуя ею самой изобретенной траектории. Генри заметил, что пальтишко на девочке распахнуто. Время шло, но никто не приходил, чтобы увести ее в дом, и ему стала мерещиться фигура, наблюдающая за ней из сумрака или уже выступающая из сумрака. Внезапно она остановилась как вкопанная лицом к нему. Он видел, что она дрожит от холода. Она взмахнула руками и тряхнула головой. И он сообразил, что она, вероятно, безмолвно общается с кем-то в другом окне, скорее всего с матерью или с няней. Она перестала кружиться и стояла на лужайке одна-одинешенька.

Мертвое, инертное молчание в ее пристальном взгляде поразило его. Она замерла – одновременно испуганная и покорная, и он даже представить не решился, на что намекал наблюдатель у другого окна. Генри сорвал пальто с вешалки у двери. Ему не терпелось проверить все самому, и он планировал выйти из-за угла и сразу же бросить случайный взгляд в окно, не теряя времени, как только окажется в пределах видимости. Он не сомневался, что особа, стоявшая за тем окном, кем бы она ни была, отпрянет, едва он появится. Всякому, думал он, должно быть совестно из окна наблюдать за юной девочкой, которая в любом случае должна находиться в доме. Он отыскал боковой выход, никого по пути не встретив.

Снаружи похолодало, и он дрожал, огибая дом по пути на лужайку. Он выждал секунду, прежде чем стремительно появиться из-за угла, и немедленно обшарил взглядом все окна на своем этаже, даже не проверив, здесь ли Мона.

В окнах он никого не увидел, никто не спрятался в тени, как он предполагал. Зато прямо перед ним – в синей шляпке и застегнутом на все пуговицы пальто – стояла Мона со своей няней. Дитя за руку подвели к нему. Он поприветствовал ее и няню и быстро прошел мимо. Когда он оглянулся, то увидел, что няня что-то мягко говорит Моне, а та улыбается в ответ – безмятежная и всем довольная. Он еще раз обшарил взором все окна на верхних этажах, но никаких наблюдателей там не было.

Проходя мимо главной залы, он увидел, что слуги уже приступили к работе – накрывали столы, устанавливали свечи в подсвечники и украшали помещение. Хэммонда среди них не было.

Уже во второй раз за утро он сказал леди Вулзли, что не станет надевать форму или маскарадный костюм, что он не лорд и не франт, а просто скромный литератор. Она предупредила, что он окажется в одиночестве на балу, что дамы все, как одна, подготовились и ни один кавалер не придет как есть.

– Вы среди друзей, мистер Джеймс... – заверила она и умолкла, вдруг усомнившись, и явно решила не договаривать то, что было у нее на уме.

Он внимательно посмотрел ей прямо в глаза, пока на лице ее не появилось чуть ли не сконфуженное выражение, а потом сообщил, что уезжает рано утром.

– А как же Хэммонд? Разве вы не станете по нему скучать? – спросила она, пытаясь вернуть разговору непринужденный, игривый тон.

– Хэммонд? – удивленно посмотрел на нее он. – Ах, это мой слуга. Да, благодарю вас, он великолепен.

– Обычно он такой серьезный, но всю эту неделю он улыбался.

– Знаете, – сказал Генри, – я буду ужасно скучать по вашему радушию.

В тот вечер твердо вознамерился не разговаривать с Уэбстером, пусть даже ему придется все время его избегать. Впрочем, как только он вышел на лестницу, ведущую к бальному залу, Уэбстер оказался тут как тут. Он нарядился в охотничий костюм, который Генри счел дурацким, и размахивал каким-то конвертом с выражением отвратительного торжества на лице.

– Не знал, что у нас с вами имеются общие друзья, – сказал он.

Генри поклонился.

– Я разыскивал вас утром, – продолжал Уэбстер, – чтобы сказать, что я получил послание от мистера Уайльда – мистера Оскара Уайльда, который передает вам свои наилучшие пожелания. По крайней мере, он так пишет – с ним никогда не знаешь наверняка. Жаль, говорит, что его с нами нет, и, конечно же, он был бы здесь очень кстати, ведь он большой любимец ее светлости. Его светлость, как я понимаю, наложил вето. Не думаю, что он хотел бы видеть мистера Уайльда в своем полку. – Уэбстер умолк и двинулся вниз по ступеням прямо на Генри; тот остался неподвижен. – Конечно, мистер Уайльд очень занят в театре. Он написал мне, что вашу пьесу сняли, освободив место для его второго успеха за сезон, и он, похоже, очень доволен подобной взаимосвязью. Пишет, вы, мол, почти что монах. Все ирландцы прирожденные писатели, как говорит моя жена, у них это в крови. Она обожает мистера Уайльда.

Генри не проронил ни звука. Когда Уэбстер замолчал, будто давая ему высказаться, он снова поклонился, побуждая Уэбстера спускаться дальше по лестнице, однако тот не двинулся с места.

– Мистер Уайльд говорит, что жаждет увидеться с вами в Лондоне. У него много друзей. Вы знакомы с его друзьями?

– Нет, мистер Уэбстер, не думаю, что я имел счастье познакомиться с его друзьями.

– Ну, может, вы с ними и знакомы, только не знаете, что они его друзья. Леди Вулзли ходила с нами на пьесу про Эрнеста<sup>14</sup>. Вам надо будет пойти с нами на следующую постановку. Я сообщу леди Вулзли, что вы должны непременно.

Уэбстер слишком уж старался быть забавным. А еще каким-то образом он умудрился следить за тем, чтобы в разговоре не возникла пауза, во время которой Генри мог бы ретироваться. Ему явно было что сказать.

– Конечно, я считаю, что у политиков и писателей есть кое-что общее. Мы все расплачиваемся сполна, если только нам не повезет в тяжелой борьбе. У мистера Уайльда нелады с супругой. Для него сейчас настали тяжелые времена, я уверен, вы понимаете, о чем я. Леди Вулзли говорит, вы не женаты. Это может быть одним из решений. До тех пор, пока не войдет в моду, я полагаю.

Он повернулся и дал понять Генри, что они могли бы вместе спуститься по лестнице.

– Но, будучи холостяком, вы имеете возможность быть открытым для всякого рода... как бы это сказать?... для всякого рода привязанностей.

Главная зала королевского госпиталя нежилась в сиянии тысячи свеч. Маленький оркестр играл приятную музыку, лакеи сновали среди гостей, предлагая шампанское. Столы были сервированы, как поведала ему леди Вулзли, серебряными приборами, которые недавно унаследовал лорд Вулзли. Ради такого случая серебро специально доставили сюда из Лондона. Пока что присутствовали только мужчины. Его просветили, что ни одна из дам не хочет появиться первой, так что все они отсиживают по своим комнатам и ждут вестей от горничных, которые время от времени выбегают на лестничную клетку пошпионить за холлом. Лорд Хотон нарядился во все регалии представителя королевы в Ирландии и придерживался мнения, что лорду Вулзли придется организовать кавалерийскую атаку, чтобы заставить дам появиться. Леди Вулзли, по всей видимости, оказалась самой упорной из всех и поклялась, что выйдет в балльную залу последней.

Генри наблюдал за Уэбстером, ни одно движение Уэбстера не укрылось от его взгляда. С него было довольно. Если только Уэбстер устремится в его сторону, Генри был готов немед-

---

<sup>14</sup> «Как важно быть серьезным» («The Importance of Being Earnest») – комедия Оскара Уайльда, впервые поставленная 14 февраля 1895 г. Название комедии представляет собой каламбур – слово «earnest», означающее по-английски «серьезный», созвучно имени Эрнест, которым представляются два героя пьесы, люди абсолютно несерьезные.

ленно отвернуться. Это означало, что он не мог ни при каких обстоятельствах участвовать в захватывающей беседе.

Пока Уэбстер, беспрестанно смеясь, двигался по залу, взгляд Генри следовал за ним, и таким образом он в первый раз заметил Хэммонда. На Хэммонде был черный костюм с белой сорочкой и черным галстуком-бабочкой. Его черные волосы блестели и казались длиннее, чем раньше. Он был свежевыбрит, отчего лицо его обрело утонченную, чистую красоту. Поймав его взгляд, Генри сообразил, что слишком пристально его разглядывает и что за одно мгновение отдал больше, чем за целую неделю. Хэммонд, похоже, ничуть не смутился и не отвел глаза. Он держал в руках поднос, но не двигался с места, и ему удалось выхватить взглядом Генри, стоявшего среди небольшой компании и вполуха слушавшего анекдот. Генри переключил свое внимание на собеседников. Сумев отвести глаза, он старался больше не смотреть в ту сторону.

Лорд Вулзли поговорил с оркестром и организовал фанфары, через горничных он договорился, что каждая дама, включая его собственную жену, при первых же звуках музыки должна явиться в главную залу под гул всеобщего восхищения. Никому не позволено задержаться. Фанфары грянули, мужчины расступились, и двери торжественно распахнулись. Два десятка дам прошествовали в зал, на каждой красовался затейливый парик, лица покрывал толстый слой грима, а наряды их будто только что сошли с полотен Гейнсборо, Рейнольдса и Ромни. Джентльмены разразились аплодисментами, и оркестр заиграл вступительные аккорды вальса.

Леди Вулзли не зря сказала, что ее костюм ожидает настоящий триумф. Платье переливчатого синего и темно-красного шелка, перетянутое огромным кушаком, было украшено множеством оборок, рюшей и складок. Ни одна из присутствующих дам не рискнула надеть настолько короткое платье. Парика на леди Вулзли не было – она прибавила к прическе искусственные букли, которые было не отличить от ее натуральных волос. Лицо и глаза были накрашены так искусно, что казалось – косметики на ней нет вовсе. Попросив оркестр умолкнуть, она жестом велела гостям отойти назад. Ее муж как будто не знал, что или кто находится по ту сторону дверей, которые закрылись, а потом снова начали медленно открываться.

А за ними показалась инфанта Веласкеса – девочка Мона в платье с кринолином, который был впятеро шире ее самой. Она замерла на пороге, неотрывно глядя куда-то вдаль, безупречно играя принцессу, слишком благородную, чтобы разглядывать своих подданных. Поглощенная своей великой ролью, своим предназначением, она мягко улыбалась гостям, а те восхищенно рукоплескали ей, объявляли открытием, грандиозным успехом этого вечера.

Генри тотчас кольнула тревога за нее, выставляющую напоказ свою женскую природу, хладнокровно потворствующую собственному очарованию. Он вглядывался в лица других гостей, пытаясь понять, разделяет ли кто-нибудь его суждение о странном, не по годам развитом ребенке и неподобающем внимании к ней. Но они занимали свои места, и между ними царил дух невинности и веселья.

Когда Генри повернулся к даме слева от него, то не сразу ее узнал. На голове у нее красовался необычайно огромный рыжий парик, лицо было сильно наштукатурено, но самое главное, пожалуй, – она молчала. Как только дама заговорила, он мигом признал в ней постоялицу Дублинского замка, ту самую, которую проигнорировала чета Вулзли.

– Мистер Джеймс, – прошептала она, – не спрашивайте, была ли я приглашена, потому что я вам скажу, что конечно же нет. Мой муж со мной не разговаривает и дуется, отсиживаясь с замке. Но лорд Хотон, которому претит грубость, настоял, чтобы я приехала сюда, и попросил другую даму позаботиться о моем костюме и сделать меня неузнаваемой. – Она быстро огляделась, не подслушивает ли кто. – Муж говорит, мол, без приглашения в гости не ходят, но вся суть костюмированных балов противоречит этому правилу.

Озабоченный тем, что их могут услышать соседи, он жестом попросил ее говорить потише.

Мона стала центром внимания – почетнейшей гостьей. Мистер Уэбстер, оказавшийся подле нее, расточал ей лстивые и двусмысленные комплименты. Леди Вулзли, сидя рядом с супругом, пребывала в полном восторге.

Хэммонд ходил по залу с бутылкой в руке, разливая гостям напитки. Он оставался спокоен и невозмутим, как бы ни был занят. Генри чувствовал, что у него самый замечательный характер из всех присутствующих в этом зале тем вечером.

Генри не танцевал, но, будь он танцующим кавалером, ему непременно пришлось бы станцевать с Моной, потому что так делали все джентльмены. Как только заканчивался очередной танец, ее тут же поджидал новый кавалер. Флиртуя с ней, обращаясь с маленькой девочкой как со взрослой, они преуспели, как думал Генри, в насмешках над ней. Они не обращали внимания на то, что она маленькая девочка – дитя, хоть и разряженное в пух и прах, которому уже пора в кроватку. Генри наблюдал за Хэммондом, который наблюдал за ней, и осознавал, что тот, возможно, единственный в этом зале, кто смотрел на шалости Моны без удовольствия.

Большую часть времени Генри стоял в одиночестве или в компании одного-двух джентльменов, созерцая кружащиеся пары, медленно оплывающие свечи, наряды и парики, все более безвкусные с виду, раздумывавшиеся щеки танцующих и явно подуставший оркестр. И внезапно он затосковал, что рядом с ним нет какого-нибудь американца, желательно жителя Бостона, соотечественника, который понимал или хотя бы признавал, в отличие от всех здесь присутствующих, чужеродность происходящего.

Это была Англия внутри Ирландии. Это здание было оазисом посреди хаоса, нищеты и разрухи. Чета Вулзли импортировала свое столовое серебро, своих гостей и свои обычаи. Ему нравился лорд Вулзли, и не хотелось сурово судить его. И тем не менее он хотел бы услышать суждение американца, воспитанного на идеалах свободы, равенства и демократии. Впервые за много лет он ощутил глубокую печаль изгнанника, одинокого чужака, слишком чуткого к иронии, щепетильного, слишком разборчивого в отношении манер и, конечно же, морали, чтобы быть способным соучаствовать.

Страхнув с себя задумчивое оцепенение, он прямо перед собой увидел Хэммонда, по-прежнему излучавшего глубокое сочувствие, которым веяло от него весь вечер. Он казался необычайно красивым. Генри взял бокал воды с подноса и улыбнулся ему, но оба не сказали ни слова. При всей общности между ними, Генри осознавал, что они никогда больше не встретятся.

На другом конце зала Мона сидела на коленях у Уэбстера. Он держал ее за руки и качал вверх-вниз. Генри усмехнулся, представив себе, как его воображаемый друг-американец входит сейчас в комнату и видит эту совсем не назидательную сценку. Уэбстер поймал его внимательный взгляд и беззаботно пожал плечами.

Было уже поздно, и Хэммонд присоединился к остальным слугам, уносившим бокалы и отскребавшим капли свечного воска со столов и с пола. Теперь он скучал по тому приязненному сиянию, которое излучало для него спокойное лицо Хэммонда. Очень скоро оно будет потеряно для него навсегда, и он почувствовал себя чужаком-чужестранцем, не имеющим ничего, способного удовлетворить его желания, человеком, разлученным с родиной, будто из окна наблюдающим за миром. Внезапно он покинул залу и быстрым шагом вернулся в свои комнаты.

## Глава 3

*Март 1895 г.*

За эти годы он кое-что усвоил насчет англичан и старался спокойно и непреклонно приспособить эти знания для собственных нужд. По его наблюдениям, мужчины в Англии в основном с большим уважением относились к собственным привычкам. До такой степени, что окружающие их люди тоже усваивали это уважение. Один его знакомый не вставал с постели до полудня, другой любил после обеда подремать в кресле, третий ел говядину на завтрак, и Генри замечал, как эти обычаи становились частью обыденности и практически не обсуждались. Его привычки, конечно же, были безобидными и непринужденными, склонности были корректными, а идиосинкразии – умеренными. Таким образом, ему стало удобно отклонять приглашения, легко и просто ссылаясь на занятость, загруженность работой, служение искусству днём и ночью.

Он надеялся, что время его пребывания в качестве заядлого гостя больших лондонских домов подошло к концу. Он любил наслаждаться восхитительной тишиной по утрам, зная, что ни с кем не встречается днём и никуда не приглашен вечером. Он считал, что раздобыл в одиночестве и научился не ждать от грядущего дня ничего, кроме – в лучшем случае – отупелого удовольствия. Порой эта отупелость выступала на первый план вместе со странной и назойливой болью, которую он какое-то недолгое время испытывал, но вскоре научился обуздывать. Впрочем, удовольствие он испытывал чаще. Неспешное освобождение и тишина с наступлением ночи могли наполнить его таким счастьем, с которым ничто – ни общество, ни компания какого-нибудь конкретного человека, ни блеск, ни очарование – не шло ни в какое сравнение.

В первые эти дни после злополучной премьеры и возвращения из Ирландии ему открылось, что он способен контролировать печаль – неизменную спутницу некоторых воспоминаний. Когда скорбь, страхи и кошмары являлись к нему сразу после пробуждения или посреди ночи, они были похожи на слуг, пришедших затеплить лампу или унести поднос. Тщательно вышколенные за долгие годы, они вскоре сами по себе исчезали, зная, что мешкать нельзя.

Тем не менее он не забыл потрясение и стыд, пережитые на премьере «Гая Домвиля». Он сказал себе, что воспоминания померкнут, и с этим обещанием себе постарался выкинуть из головы мысли о своем провале.

Вместо этого он стал думать о деньгах, перебирая в уме, сколько он получил и какие суммы ему причитаются, думал о путешествии – куда он поедет и когда. Он думал о работе, об идеях, персонажах, о моментах истины. Он концентрировался на этих мыслях, ибо знал, что они подобно светочам ведут его сквозь мрак. Стоит ему утратить бдительность, и они погаснут от легкого дуновения, и он снова пустится рассуждать о поражениях и разочарованиях, которые, если их не одолеть, заведут его в мысленные дебри отчаяния и страха.

Иногда он рано просыпался, и, когда подобные мысли овладевали им, знал, что выбор у него только один – встать с постели. Он верил, что, действуя решительно, как будто он куда-то торопится, как будто поезд вот-вот тронется, а он опаздывает, можно их прогнать.

И все же он знал, что нужно отпускать разум на волю. Он жил за счет бессистемной работы ума, и теперь, с началом нового дня, он оказывался погружен в новые размышления и фантазии. Интересно, думал он, как легко идея меняет форму и предстает посвежевшей, в новом обличье. Он и не знал, как близко к поверхности затаилась эта история. Это был простой рассказ, еще более упрощенный отцом его друга Бенсона – архиепископом Кентерберийским, который старался развлечь его однажды вечером вскоре после провала его пьесы. Он слишком долго колебался и слишком часто останавливался, пытаясь рассказать историю о привидениях, но не зная ни середины, ни развязки, не уверенный даже в контурах зачина.

Генри определился с ними, как только вернулся домой. Он записал у себя в блокноте:

История о привидениях, рассказанная в Эддингтоне (вечером во вторник 10-го) епископом Кентерберийским: просто приблизительный набросок без деталей: история про маленьких детей (возраст и количество не определены), оставленных на попечение слуг в старинном сельском доме предположительно из-за смерти родителей. Челядь, злобная и развращенная, портит и развращает детей: дети дурны, исполнены злобы до крайней степени. Слуги умирают (причина смерти туманна), и их призраки возвращаются в дом, чтобы преследовать детей.

Ему не нужно было заглядывать в блокнот, чтобы вспомнить эту историю, все события были при нем. Он раздумывал о том, чтобы поместить действие в Ньюпорт, в уединенный дом среди скал, или в один из новых нью-йоркских особняков, но ни одна декорация не увлекла его, и постепенно он оставил идею об американской семье. Теперь это была английская история, действие которой происходит в прошлом, и в первоначальной неспешной разработке сюжета он сократил число детей до двух – мальчика и его младшей сестры.

Он часто думал о смерти своей сестры Алисы, ушедшей три года назад. Тогда он впервые прочел ее дневник, полный откровенных излияний. Теперь он чувствовал себя очень одиноко, как и она на протяжении всей своей жизни, и чувствовал близость к ней, хотя никогда не страдал от ее симптомов и ее недугов и был лишен ее стоицизма и смирения.

В самые мрачные часы он ощущал, что оба они были в каком-то смысле заброшены, когда семейство разъезжало по Европе и возвращалось, часто без всякой причины, в Америку. Они никогда не были в полной мере вовлечены в круговорот событий и мест, становясь лишь зрителями, но не участниками. Их братец Уильям, самый старший, а также Уилки и Боб, родившиеся между Генри и Алисой, пришли в этот мир искусно вылепленными и готовыми к встрече с ним, а Генри и Алиса остались беззащитными и неискушенными. Он стал писателем, а она слегла.

Он очень явственно помнил, как впервые ощутил панический страх Алисы. В Ньюпорте их застал ливень: они так увлеклись, болтая и хохоча, что не заметили, как почернело небо. Алисе было лет четырнадцать или пятнадцать, но в ней не было ни капли той странной застенчивой уверенности, которая проявлялась у ее кузин, достигших этого возраста. Алиса не умела, как они, вдумчиво и с достоинством входить в комнату или заговаривать с незнакомцами, не умела легко и непринужденно общаться с семьей, не обладала их уверенностью в себе.

В тот жаркий летний день дождь обрушился внезапно, небо над морем стало скопищем фиолетово-серых туч. На нем была легкая курточка, а на Алисе – только летнее платье и хлипкая соломенная шляпка. И никакого укрытия поблизости. Несколько раз они пытались спрятаться под кустами, но ливень, подгоняемый ветром, был неумолим. Он снял куртку, они вместе накрылись ею и брели – медленно и молча, крепко прижимаясь друг к другу – в сторону дома. Он чувствовал, что она счастлива, и счастье ее было невероятно сильным, почти пронзительным. Никогда прежде он не понимал, насколько остро она нуждается в полном внимании, сочувствии и защите – с его стороны, со стороны Уильяма или родителей. В эти минуты, пока они шли домой по мокрой песчаной дороге от моря в деревню, он чувствовал, что сестра пылает огнем от удовольствия близости к нему. Наблюдая ее сияние и восторг, когда они приблизились к дому, он впервые ощутил, как трудно ей придется в жизни.

Он начал наблюдать за ней. До сих пор он считал шутку, что Уильям собирается на ней жениться, просто легким поддразниванием, способом заставить ее улыбнуться, Уильяма рассмеяться, а все семейство – дружно хохотать вместе с ним. Вдобавок это был маленький спектакль для гостей. Уильям был на шесть лет старше Алисы. Как только Алиса стала появляться перед гостями в ярких платьях и начала осознавать, какой эффект может произвести на взрослых, шутка о том, что она выйдет замуж за Уильяма, стала своеобразным ритуалом.

– О, она выйдет замуж за Уильяма, – говорила тетушка Кейт, и, если Уильям присутствовал, он подходил к ней, брал ее за руку и целовал в щеку.

Алиса же ничего не говорила, только окидывала всех, улыбающихся и смеющихся, едва ли не враждебным взглядом. Отец брал ее на руки и обнимал.

– Ничего, это ненадолго, – говорил он.

Алиса никогда не верила, думал Генри, что выйдет замуж за Уильяма. Она была рациональной, и даже в подростковом возрасте в основе ее интеллекта лежала хрупкая злость. Однако, поскольку идея о том, что Уильям на ней женится, повторялась так часто, а никто посторонний не представлялся даже отдаленно возможным суженым, эта идея незаметно проникла в отдаленный уголок ее души и безмолвно, но прочно там разместилась.

За раздумьями в попытках придать форму истории о двух покинутых детях, рассказанной ему архиепископом, Генри поймал себя на том, что мысленно обратился к загадочному пребыванию его сестры в этом мире. Перед глазами пробежали сцены, когда она явственно демонстрировала домашним свой недюжинный интеллект и кровотокающую уязвимость. Она была единственной на свете маленькой девочкой, которую он знал, и теперь, когда он попытался представить себе маленькую девочку, именно неутомимый призрак его сестрички посетил его.

Вспомнилась сценка, когда Алисе было, наверное, лет шестнадцать. Один из тех затянувшихся ужинов с парой гостей, как ему припомнилось, когда кто-то заговорил о жизни после смерти, о встречах с умершими родственниками: не то они и вправду происходили, не то на них надеялись и верили, что такое возможно. Тогда один из гостей, или это была тетушка Кейт, предложил помолиться о том, чтобы в будущей жизни увидеться со своими любимыми, но внезапно голос Алисы возвысился над всеми прочими, и все умолкли и обратили взоры к ней.

– Не надо ни о чем молиться, – сказала она. – Упоминание о тех, кого мы должны снова встретить, вызывает у меня дрожь. Это вторжение в их святую. Своего рода личные притязания, против которых я решительно возражаю.

Она говорила, как тетя Эмерсона<sup>15</sup>, как та, что погрузилась в философию жизни и смерти, как та, что гордится независимостью своих суждений. Ее семейству был совершенно очевиден ее изобретательный ум, ее изрядное остроумие, но она знала, что ей придется это скрывать, если она хочет быть похожей на других девушек ее возраста.

У Алисы были друзья, она принимала гостей и ходила на прогулки и пикники. Она научилась ладить с сестрами друзей своих братьев. Но Генри наблюдал за ней, когда в комнату входил какой-нибудь молодой человек, и замечал перемену в ее поведении. Она не могла расслабиться, а молчание давалось ей с огромным трудом. Она становилась словоохотливой, и в речах ее бессмыслица перемежалась с парадоксом. В ней чувствовались ужасный надрыв и беспокойство. Он видел, как изнуряют ее подобные светские события.

Даже семейные трапезы могли стать для нее испытанием, когда Боб и Уилки научились получать удовольствие, дразня ее и пользуясь ее незащищенностью. В те годы их отец буквально не находил себе места, и они пересекли Атлантику в поисках чего-то, не понятного никому из них, пытаясь отвлечься от страстного и нетерпеливого отцовского смятения. Их тащили из города в город, из гостиниц в апартаменты, они все время меняли домашних учителей и школы. Они свободно говорили по-французски и знали, что они странные. Из-за этого они – все пятеро – сильно отличались от сверстников, зная больше и в то же время меньше других. Больше – о богатстве, истории, европейских городах, больше об уединении и неопределенности, о том, как оставаться в одиночестве и как быть независимым. Меньше – об Америке, о паутине связей и привязанностей, которую сплетали их современники. В те годы они научились

---

<sup>15</sup> *Мэри Муди Эмерсон* (1774–1863) – самозванная пророчица, духовидица и мистик, тетя американского эссеиста, поэта, философа Ральфа Уолдо Эмерсона (1803–1882), оказавшая на него самое сильное духовное влияние.

опираться друг на друга, предлагать друг другу приватный язык, защиту и слаженность действий. Они напоминали старинный город-крепость. Никто, сколь бы упорной ни была осада, не мог разрушить их стены. И Алиса, взрослея, оказалась в западне за этими стенами.

Сам Генри плохо помнил визит Теккерея на их семейный ужин в Париже, хотя помнил, что о нем рассказывали другие. История повторялась и пересказывалась на все лады, и каждый член семьи, включая мать, обычно осмотрительную и сдержанную в высказываниях, считал, что ее следует поведать всем и каждому.

В то время Алисе было лет восемь или девять. Ее посадили рядом с писателем, и Генри знал, что для нее это большое испытание. Она переживала из-за каждого своего жеста, каждого кусочка пищи, которого касались ее нож и вилка. Она провела всю трапезу, размышляя о том, что же подумает о ней этот великий человек. Генри знал, что в таких случаях пульс у нее учащался, а ее попытки произвести впечатление были затейливыми, застенчивыми и кропотливыми.

Он не помнил, чтобы Алиса носила в те времена кринолин, но история строилась именно на нем. Теккерей повернулся к ней и окинул взглядом ее наряд.

– Кринолин! – воскликнул он. – Никогда бы не подумал. Столь юное и столь порочное создание!

Это замечание, высказанное, скорее всего, добродушно, для сестры Генри стало внезапным ударом. В следующие долгие минуты она не чувствовала ничего, кроме стыда, как будто тайная, темная сторона ее была вдруг выставлена на всеобщее обозрение. Он представлял, какими неожиданными были эти слова, видел замешательство сестры, ее беспомощную попытку улыбнуться. Генри один понимал, как все это жестоко, но ничего не сделал, чтобы заставить умолкнуть остальных – всех тех, кто выставлял напоказ эту историю перед каждым, кто соглашался слушать. Рассказчики испытывали еще большую радость, если Алиса при этом присутствовала и в который раз выслушивала историю о том, как ее унижил величайший романист того времени.

Уильям был самым старшим и самым неуязвимым. На него, похоже, никак не влияли ни долгие поездки, ни срывы и потрясения. Он был силен и популярен среди одноклассников, всегда уверен в своем праве принять участие в следующей игре. Он любил крики и гам, любил шумные компании. Любил грохот дверей и спортивные игры. Никто не замечал в нем книжного мальчика, и даже он сам, возможно, не заметил бы, если бы однажды бесстрашно не вступил в спор с отцом. Спорил он так самозабвенно и с таким наслаждением, что к подростковым годам начал обращаться со словами и фразами так же, как прежде он обходился с живыми изгородями и ухоженными газонами.

Ради Уильяма Алиса старалась быть утонченной, изысканной, женщиной мира, автором французской дневниковой прозы восемнадцатого века. Однажды мать упомянула, какое глубокое впечатление произвело на Неда Лоуэлла изображение Бостона в новом романе Хоуэллса<sup>16</sup>. Алиса явно хотела что-то сказать, и все повернулись к ней. Она не смогла начать. Лицо ее пылало.

– О бедняжка! – запинаясь, пробормотала она. – Если его так впечатлил роман, интересно, что он чувствует насчет Разграбления Рима, да и того, как флиртует его собственная жена.

И снова весь стол умолк. Мать отодвинула стул, словно собираясь встать. Все остальные удивленно смотрели на Алису. Уильям не улыбался. Она сидела, не поднимая глаз. Она неверно выбрала момент, и все поняли, какое странное впечатление может она произвести, если ее выпустить в свободное плавание.

---

<sup>16</sup> Уильям Дин Хоуэллс (1837–1920) – американский писатель и литературный критик; представитель «нежного реализма» в литературе США.



Вот этот ее образ так и остался с ним навсегда. Пропасть между внутренней ее жизнью, во всей ее застенчивой уединенности, и жизнью, которая была для нее намечена, вызывала в нем замешательство. Когда начала отступать лондонская зима и дни стали удлиняться, он не стал писать романы, а вместо этого делал заметки для рассказов и создавал первые робкие наброски зачина. Преждевременная кончина сестры часто тревожила его мысли, и подробности ее странной жизни приходили ему на память, когда он меньше всего ожидал этого, усиливая его ощущение безвозвратности прошлого.

Ему вспомнился еще один вечер – сестре тогда было восемнадцать или девятнадцать лет. Он пришел домой с какой-то вестью – то ли о прослушанной лекции, которая могла заинтересовать его отца, то ли о своей очередной публикации. Полный радостных предвкушений, он открыл дверь, и тут же ему навстречу вышла тетушка Кейт и предупредила, что Алисе нездоровится.

Он сидел внизу и слышал, как Алиса зовет кого-то. Родители оба ухаживали за ней, а тетушка Кейт регулярно поднималась по лестнице, чтобы задержаться у двери в ее комнату или ненадолго присоединиться к родителям, а потом спускалась, чтобы вполголоса сообщить Генри, как обстоят дела. Генри не помнил, в каких именно словах описала она беду, приключившуюся с Алисой. Кажется, у нее случился приступ, а может быть, нервы расстроились, но он знал, что всю ночь родители по очереди приходили поговорить с ним, и он заметил их волнение из-за возникшей новой дилеммы. Их нервная дочь и ее странный недуг заслуживали их полного сочувствия и внимания.

Той ночью, слушая неутихающие рыдания Алисы в комнате наверху и зная, что ее баюкают и утешают, Генри заметил также, что мать, которой Алиса часто пренебрегала из-за банальности ее домашних забот, теперь отчаянно нужна своей дочери, и при тусклом свете в старой гостиной, куда она спускалась, чтобы посидеть с Генри, казалось, что мать получает определенное удовлетворение оттого, что в ней так нуждаются.

Все было не тем, чем казалось. Он придумал для своего рассказа образ гувернантки – милейшей особы, умной и очень компетентной, взволнованной своими новыми непростыми обязанностями, заботами о подопечных – мальчике и девочке, о которых рассказал ему архиепископ. А еще его не отпускали видения матери и тетушки Кейт – вот они, встревоженные и измученные, одна из них с лампой в руке, входят к нему в гостиную, губы у матери поджаты, но глаза блестят и щеки разрумянились, и сидят вместе с ним, пока сверху доносятся приглушенные стоны и крики Алисы. Обе мрачно и прилежно сидят в своих креслах – куда более живые и куда более вовлеченные, чем ему доводилось видеть за много лет.

И еще видение: вот они с Алисой и тетушкой Кейт в Женеве несколько лет спустя – тогда никто из них не осмеливался сказать Алисе или друг другу, что ее страдания кажутся почти преднамеренными.

Они пытались дать название ее болезни, и самое близкое описание, которое смогла найти мать, – это что Алиса страдала настоящей истерией. Генри понимал, что недуг ее неизлечим, поскольку она холила его и цеплялась за него, как за желанного гостя, в которого безнадежно влюблена. Пребывая в Женеве во время поездки по Европе, они, наверное, казались стороннему наблюдателю, а порой и самим себе редкостными образчиками жителей Новой Англии, прилежно любующихся достопримечательностями, наблюдающих Старый Свет умным и чувственным взглядом, братцем и сестрицей, что путешествуют вместе с тетушкой, коротая время, прежде чем где-нибудь осесть. Сестричка казалась ему тогда самой счастливой, самой остроумной и наиболее обнадеживающей.

Он вспоминал, как ежедневно после полудня они втроем ходили к озеру. Тетушка Кейт следила за тем, чтобы Алиса как следует отдыхала по утрам.

– Учебники географии умалчивают, – заметила однажды Алиса во время такой прогулки, – что на озере есть волны. Придется теперь переписывать всю поэзию.

– С чего начнем? – спросил Генри.

– Напишу Уильяму, – ответила Алиса. – Он узнает.

– Тебе надо каждый день отдыхать, дорогая, и не следует писать слишком много писем, – заметила тетюшка Кейт.

– А как же еще я смогу рассказать ему? – поинтересовалась Алиса. – Прогулки пешком утомляют сильнее, чем письма, а этот ваш свежий воздух, боюсь, меня убьет.

Она снисходительно улыбнулась тете, которая, как заметил Генри, нисколько не разделяла ее веселья по поводу смерти.

– Легкие любят отели, – сказала Алиса. – Они тоскуют по ним, особенно им нравятся фойе, лестницы, а также гостиные и спальни, если оттуда прекрасный вид, а окна заперты на щеколду.

– Ходи помедленнее, дорогая, – попросила тетюшка Кейт.

Генри наблюдал, как Алиса подыскивает следующую реплику, которая повеселила бы его и возмутила бы тетюшку Кейт, а потом, неспешно прогуливаясь, она на мгновение ощутила удовольствие от своего молчаливого присутствия в их обществе.

– Сердце, – продолжила она вскоре, – предпочитает удобный, теплый поезд, а мозг вызывает к океанскому лайнеру. Опишу это все Уильяму, как только мы вернемся в отель, и надо поторопиться, милая тетя, медленная ходьба – сушая анафема для памяти.

– Если бы Дороти Вордсворт<sup>17</sup> научила брата подобным премудростям, его поэзия была бы, наверное, куда более совершенной.

– А разве Дороти Вордсворт – не жена поэта? – удивилась тетюшка Кейт.

– Нет, его женой была Фанни Браун<sup>18</sup>, – сказала Алиса и лукаво улыбнулась Генри.

– Иди помедленнее, дорогая.

В тот вечер, когда она сошла к ужину, Генри отметил, как тщательно Алиса оделась и уложила волосы. Он знал, что для нее все могло бы сложиться иначе, будь она писаной красавицей, или не родись она единственной девочкой в семье, или не обладай она столь острым умом, или если бы ее детство было не настолько необычным.

– А могли бы мы отправиться в путешествие вокруг света – только мы вдвоем: останавливаться в чудесных отелях и писать домой письма, включая туда остроумные замечания, сделанные кем-то из нас? – спросила Алиса. – Можем мы уехать навсегда?

– Нет, не можем, – ответила тетюшка Кейт.

Тетя Кейт, вспомнил Генри, взяла на себя роль строгой, но доброжелательной гувернантки, пекущейся о двух детишках-сиротах – послушном, вдумчивом и основательном мальчике Генри и девочке Алисе, взбалмошной, но также готовой выполнить то, что ей скажут. И все трое были счастливы эти несколько месяцев, до тех пор, пока не задумывались о том, что ждет Алису, когда они вернутся домой.

Глядя на них со стороны, никто бы не догадался, что Алиса уже превратилась в странного и остроумного инвалида. В их компании Алиса почти приблизилась к выздоровлению, но Генри знал, что, даже если и так, они не могут вечно странствовать по городам и весям. За этим улыбочивым лицом, за этой милой фигуркой, весело спускающейся по лестнице каждое утро, чтобы встретиться с ними в вестибюле гостиницы, скрывалась тьма, готовая вырваться наружу, как только пробьет ее час.

К тому времени обреченность Алисы каким-то образом отразилась на всех аспектах ее существования и, несмотря на уравновешенные, счастливые деньки в Женеве, то, что ждало ее впереди, сложилось в историю, которая теперь очаровывала его и сбивала с толку, – о молодой

---

<sup>17</sup> Дороти Вордсворт (1771–1855) – писательница, поэтесса, мемуаристка. Сестра поэта Уильяма Вордсворта, его близкий друг.

<sup>18</sup> На самом деле Фанни (Френсис) Браун Линдон (1800–1865) была невестой выдающегося английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821).

женщине, кажущейся светлой и легкой, амбициозной и исполненной чувства долга, но вскоре ей суждено услышать леденящие кровь звуки в ночи и пугающие лица в окне и позволить дневным грезам превратиться в ночные кошмары.

Наихудшим стало для нее время перед самой женитьбой Уильяма и сразу после, когда она пережила тяжелейший свой нервный срыв и ее старые недуги дали о себе знать с новой силой. Уже в Англии, много лет спустя, она рассказала ему, что большая часть ее умерла тогда. Тем отвратительным летом, когда Уильям женился на женщине – хорошенькой, практичной и необычайно здоровой, которую, что самое жестокое, тоже звали Алиса, – Алиса Джеймс погрузилась в морские глубины, и темные воды окутали ее и сомкнулись над ней.

Да, несмотря на ее страшные болезни, подрывающие остатки сил, она сохраняла странную умственную энергию. Ее поступки были непредсказуемы или преднамеренно исполнены иронии и противоречий. Когда умерла мать, вся семья с особым вниманием следила за ней, уверенная, что это непременно приведет к окончательному распаду. Генри оставался в Бостоне, пытаясь измыслить способы помочь ей и отцу.

Но у Алисы припадков больше не было. Она стала, насколько это возможно, умелой, послушной и любящей дочерью, с легкостью взялась за ведение домашнего хозяйства и общалась со всеми остальными членами семьи так, словно именно она держала все в руках. Однажды перед своим отъездом в Лондон он увидел, как она провожает гостя в холле, – сложив руки на груди, она просила его приходить снова, и глаза ее сияли. Он заметил, что ее теплая улыбка стала почти печальной, едва затворилась дверь. Все в ее облике в эту минуту – от позы до выражения лица, до жестов, когда она вернулась в коридор, – все было позаимствовано у матери. Генри видел, как ценой огромных усилий Алиса пытается быть хозяйкой дома.

В течение года скончался отец, и, как только его похоронили, ее театр развалился. Она свела близкую дружбу с Кэтрин Лоринг, чей интеллект не уступал ее собственному и чья сила уравновешивала ее слабость. Мисс Лоринг стала ее компаньонкой, когда Алиса решила поехать в Англию, чтобы избавиться от чрезмерной заботы тетушки Кейт. Это был акт неповиновения и независимости и, конечно же, крик о помощи, обращенный к Генри. Она проживет еще восемь лет, но большую их часть проведет главным образом в постели. Это было, как она часто говорила, просто сморщивание пустого горохового стручка, ожидающего итога.

Он вспомнил эти слова, пока ждал в Ливерпуле ее прибытия в Англию, и он знал, что ее упрямая целеустремленность и предпочтения, а также внушительное наследство от отцовского имения с помощью мисс Лоринг на некоторое время отсрочат этот итог. Он решил не потакать мысли о том, что она нарушит его одиночество и лишит плодотворности изгнание. И все-таки он испугался, увидев, как ее сносят по трапу корабля – беспомощную и больную. Когда он подошел к ней, она не могла говорить, только страдальчески закрыла глаза и отвернулась, когда ей показалось, что он хочет к ней прикоснуться. Стало ясно, что ей не следовало путешествовать. Мисс Лоринг руководила размещением Алисы в подходящей квартире и поисками сиделки. У Генри возникло ощущение, что она так же зависит от беспомощности его сестры, как сама Алиса зависела от мисс Лоринг.

Она не желала выпускать мисс Лоринг из виду. Она лишилась семьи, утратила здоровье, но ее воля теперь объединилась с величайшей необходимостью иметь Кэтрин Лоринг исключительно в собственном распоряжении. Генри заметил, что состояние Алисы ухудшалось, вплоть до истерики, когда мисс Лоринг отсутствовала, но она спокойно, почти радостно ложилась в постель, стоило мисс Лоринг пообещать, что она останется и будет за ней ухаживать. Он написал об этой странной паре тетушке Кейт и Уильяму. Он старался выразить свою благодарность мисс Лоринг за ее преданность, такую щедрую и совершенную, но знал, что эта преданность зависит от того, останется ли Алиса прикована к постели. Генри не нравилась эта связь, не нравилось, что ее питало нездоровье. Он был недоволен унижительной зависимостью Алисы от ее

самоотверженной подруги. Порой он даже верил, что мисс Лоринг причиняет вред его сестре, но не представлял, кто в таком случае мог принести Алисе пользу, и в конце концов отступил.

Мисс Лоринг проводила с Алисой большую часть суток – заботилась о ней, терпела ее, восхищалась ею так, как никто и никогда на свете. Алиса специализировалась на сильных суждениях и нездоровых разговорах, а мисс Лоринг, казалось, охотно слушала ее высказывания о смерти и удовольствиях, ей сопутствующих, об ирландском вопросе и беззакониях правительства, а также о мерзостях английской жизни. Когда мисс Лоринг уходила, пусть и очень ненадолго, Алиса печалилась и негодовала, что ей, сидевшей за одним столом с братьями и отцом – величайшими умами эпохи, – теперь только и осталось, что полагаться на поверхностное милосердие сиделки, которую наняла мисс Лоринг.

Генри навещал ее так часто, как мог, даже когда Алиса и мисс Лоринг снимали жилье за пределами Лондона. Иногда он слушал ее с интересом и восхищением. Она любила замысловатые шутки, силой своей личности превращая какое-нибудь маленькое недоразумение в нечто невероятно смешное. Например, ей очень нравилась тема преданности миссис Чарльз Кингсли своему покойному мужу<sup>19</sup>, и она имела склонность пересказывать эту историю снова и снова с негодующей насмешкой и требовала от посетителей согласия, что ее стоит начать пересказывать еще до того, как она закончила.

– Известно ли вам, – спросит она бывало, – что миссис Чарльз Кингсли чтит память своего покойного супруга?

Тут она делала паузу, как будто этого довольно и больше ничего сказано не будет. А затем, тряхнув головой, давала понять, что готова продолжать.

– Знаете ли вы, что она всегда сидела бок о бок с его бюстом? Наносит визит миссис Чарльз Кингсли, вам приходилось наносить визит и ее мужу. И они оба сердито на вас пялились.

Алиса и сама яростно зыркала на собеседников, словно изображая зло в чистом виде.

– Но это еще не все, – продолжала она. – Миссис Кингсли, ложась в постель, прикалывала фото своего покойного мужа на подушку рядом с собой!

Тут она закрывала глаза и смеялась – сухо и протяжно.

– О, добрый ночной сон миссис Чарльз Кингсли! Можно ли представить себе что-нибудь более гротескное и отвратительное?

А еще были врачи. Их визиты и прогнозы вызывали у нее одновременно презрение и ликование, даже когда ей сообщили, что у нее рак. Малейшая глупая фраза какого-нибудь доктора обсуждалась несколько дней кряду. Однажды она объявила, что ее посетил сэр Эндрю Кларк со своей жуткой ухмылкой, словно эта жуткая ухмылка была хорошо известным придатком к нему. А потом, задыхаясь от смеха, рассказала историю о том, как один друг много лет назад долго ждал сэра Эндрю, а тот по прибытии представился, извинился за опоздание и сказал: «Будьте покойны!»

– И я сказала мисс Лоринг, пока мы его ждали, что готова спорить на деньги, что спустя все эти годы, войдя в эту комнату, он произнесет ту же самую фразу. «Внимание!» – сказала я, и тут дверь открылась, вошел джентльмен в расцвете сил с жуткой ухмылкой на губах, и с этих губ слетело: «Сэр Эндрю Кларк. Будьте покойны!», словно он говорил это впервые, после чего последовал давно созревший всплеск веселья со стороны самого сэра Эндрю, даже перезревший, я бы сказала.

Она наблюдала за собой, с предвкушением выискивая признаки умирания, казалось, она настолько же бесстрашна перед лицом смерти, насколько ее пугало все остальное. Она терпеть не могла священника, жившего в апартаментах этажом ниже, и делилась своими страхами, что,

---

<sup>19</sup> Чарльз Кингсли (1819–1875) – английский писатель и проповедник, один из основоположников христианского социализма.

если ей станет совсем плохо среди ночи, он может явиться и отслужить при ее кончине до того, как его остановят.

– Ты только вообрази: открываешь глаза в последний раз и видишь этого священника, похожего на летучую мышь, – говорила она, величаво глядя куда-то вдаль. – Это совершенно испортило бы посмертное выражение лица, которое я тренировала годами! – Она горько хохотнула: – Как ужасно быть такой незащитной.

С течением времени он понял, что его сестра больше никогда не встанет с постели, и сделал открытие: мисс Лоринг придерживалась такого же мнения. Она поклялась остаться с Алисой до конца. Эти бесконечные разговоры о «конце» тревожили его, и порой, наблюдая за общением этих двоих – перманентной пациентки и ее компаньонки, – таким веселым, шумным, оживленным, он чувствовал острую необходимость срочно оказаться подальше от них, сократить свое пребывание рядом с ними, возвратиться к своему, тяжким трудом добытому уединению.

Пока Алиса жила в Англии, он написал два романа, и оба впитали своеобразную атмосферу мира, в котором пребывала сестра. Он понимал дилемму женщины эпохи реформ, женщины, разрывавшейся между правилами, в которых ее воспитали, и необходимостью менять эти правила, а также – и это была, по его мнению, еще более критическая дилемма – женщины, воспитанной в свободомыслящей семье и ограничивавшей свою свободу мышления, оставаясь респектабельной конформисткой во всех прочих отношениях. Приступая к написанию «Бостонцев», он без труда мог представить себе конфликт между двумя людьми, боровшимися за власть над третьим. Он сам пережил подобную, хоть и краткую, схватку с мисс Лоринг, пока не отступил и не оставил за ней поле боя. Во втором романе, «Княгиня Казама-сима», также написанном после прибытия Алисы в Англию, он, сам того не осознавая, написал ее двойной портрет. В первой половине она была княгиней – утонченной, блестящей, обладающей мрачным могуществом, только что прибывшей в Лондон. В другой половине она, должно быть, себя узнавала: она была Розы Мьюнимент, лежащей больной, – «прикованная к постели маленькая калека», «маленькая, старая, резкая, изувеченная, болтливая сестрица», «непоколебимое, яркое создание, словно бы отполированное болью».

Она читала все его работы и выразила свое огромное восхищение этим романом, ни разу не упомянув прикованную к постели сестру, которую очень не любят два главных героя. В своем дневнике она писала о деятельности Генри и об успехах Уильяма. «Это весьма неплохой показатель для одной семьи, – написала она, – особенно если я доведу себя до смерти, а это самая тяжелая работа из всех».

Таким образом, переехав в Лондон, Алиса, столько лет игравшая в умирание, начала умирать по-настоящему. Она страстно жаждала, как она сказала Генри, какой-нибудь осязаемой болезни и с огромным облегчением восприняла известие о том, что у нее рак. Ей было всего сорок три. Алисе приснилась лодка, которую швыряло по бурному морю, и, проплывая под черной тучей, она увидела свою умершую подругу Энни Диксвелл, которая оглянулась и посмотрела на нее. Алиса была готова отправиться к ней.

Генри и мисс Лоринг ухаживали за ней, пока она угасала, боли ее приглушались морфием. Казалось, она ничуть не изменилась, и он думал, что вот так она, наверное, и ускользнет, умрет, как говорится, – и не заметит. Но смерть ее не была легкой.

Однажды он вошел к сестре в комнату и поразился произошедшей в ней перемене. Она была совсем плохо, дышала с трудом, а пульс ее, по словам мисс Лоринг, был слабым и прерывистым. Лихорадка сделала ее неразговорчивой, но время от времени у нее начинался страшный кашель – до рвоты, ее рвало и рвало, потом она падала без сил на подушки. Потом она пыталась что-то сказать, но кашель вернулся, выворачивая ее наизнанку, а после она утихла.

Врач сказал, есть все основания считать, что это ее состояние может продолжаться не день и не два.

Генри не отходил от нее, отчаянно стараясь хоть как-то утешить. Он боялся за нее, уверенный, что, несмотря на все ею сказанное, она тоже боится. Каждое мгновение она могла уйти, и он ждал, зная, что ей нужно сказать что-то напоследок, прежде чем смерть поглотит ее.

А затем случилась новая перемена. Через несколько часов боль и мучения, казалось, утихли, кашель и даже жар отступили, а близость смерти еще сильнее заострила ее черты. Она не спала. Он сидел у постели сестры, сожалея, что матери нет рядом, что она не может поговорить с ней, произнести те слова, что помогли бы ей, облегчили бы ее путь в мир иной. Он попытался представить себе, что мать находится в комнате, он почти прошептал свою просьбу: мама, приди, будь здесь, мама, помоги Алисе своей нежностью. Ему хотелось спросить сестру, чувствует ли она, что в комнате витает призрак их матери.

Было ясно, что ей осталось недолго, хотя Кэтрин Лоринг настояла, чтобы он не засиживался допоздна, и он согласился, что ничего не может сделать. Он собрался уходить. Но тут она снова заметалась в постели, не могла ни повернуться на бок, ни вдохнуть. А потом она прошептала что-то, и оба они – он и мисс Лоринг – пристально посмотрели друг на друга. Медленно, с явным усилием Алиса повторила громче, чтобы теперь они смогли ее расслышать.

– Еще один день я не выдержу, – сказала она. – Не просите, умоляю.

Эти слова помогли ему, когда он медленно брел по Кенсингтону к себе на квартиру. Он всегда боялся, что, когда придет конец, это окажется для нее самым ужасным, а все ее разговоры о желании умереть превратятся в обычную браваду. Он почувствовал облегчение, что сестра говорила то, что на самом деле чувствовала. Он смотрел на нее, зная, что сам на ее месте пришел бы в ужас, но она была иной. Она не дрогнула.

Под покровом ночи, как рассказала ему Кэтрин Лоринг, она погрузилась в нежный сон. Заступая на дневное бдение у ее постели, он размышлял о ее снах и надеялся, что морфий сделал их золотистыми и разогнал весь мрак и страхи, клубившиеся вокруг ее жизни. Он так хотел, чтобы теперь она была счастлива. Но не мог заставить себя перестать желать, чтобы она снова начала дышать, вопреки всему, чтобы она не умирала. Он не мог представить ее мертвой, хотя так долго наблюдал ее умирание. Приехал доктор и отменил все назначения, поскольку она больше не нуждалась в дополнительной медицинской помощи.

Для Генри, в его почти пятьдесят, это была первая увиденная смерть. Он не присутствовал, когда умирали мать и отец. Он дежурил у материнской постели, но не был свидетелем ее последнего вздоха. Он описывал смерть в своих книгах, но ничего не знал об этом долгом дне ожидания, когда дыхание сестры становилось поверхностным, потом, казалось, затихало, а после снова учащалось. Он силился представить, что происходит с ее сознанием, с ее великолепным остроумием, и чувствовал, что все, что от нее осталось, – прерывистое дыхание и слабеющий пульс. Не было ни воли, ни знания – просто тело, медленно сходящее на нет. И это вызывало в нем еще большую жалость к ней.

Его воображение всегда рисовало дом смерти как место безмолвное, неподвижное и настороженное, но теперь он знал, что тишины в этом доме нет, потому что воздух заполняли звуки дыхания Алисы – все изменения его интенсивности. Ее пульс участился, а затем ненадолго замер, но она еще не умерла. Он размышлял о том, так ли умирала их мать. Алиса единственная об этом знала, единственная, у кого он не мог спросить.

Он встал и коснулся ее, когда дыхание ее стало легче и выровнялось и она забылась спокойным сном. Это продлилось еще час. Она по-прежнему не была готова уйти, и он спрашивал себя, кто она теперь, которая ее часть еще существует в эти последние часы? Когда она перестала дышать, он встревоженно наблюдал. Несмотря на столько дней бдения у ее постели, он оказался не готов. Она снова вдохнула – трудно и поверхностно. Он снова пожалел, что матери нет рядом с ним, что она не будет держать его за руку, когда Алиса наконец ускользнет. Мисс

Лоринг начала считать ее вдохи – всего один вдох в минуту, сказала она. Когда настал конец, казалось, лицо Алисы прояснилось, и это было странно и трогательно. Он встал и подошел к окну, чтобы впустить в комнату немного света, а когда вернулся к постели, она вздохнула в последний раз. И в комнате наконец стало тихо.

Он остался рядом с ее телом, зная, что вот так безмятежно лежать в смерти – именно то, чего она жаждала. Она казалась красивой и величавой, и он верил, вопреки своим прежним сомнениям, что если бы она видела себя, свое тело, ожидающее кремации, то ощутила бы мрачное восхищение тем, чем она стала. Для него было очень важно, чтобы ее прах вернулся в Америку и упокоился в Кембридже<sup>20</sup>, рядом с родителями. Его утешала мысль, что они не похоронят ее в Англии, не оставят ее в этой стылой земле вдали от дома.

Мертвые черты ее менялись с переменной света. Она выглядела то юной, то старой, то измученной, то необычайно, исключительно красивой. Он улыбнулся ей – лежащей неподвижно, с бледным и осунувшимся, но изысканно прекрасным лицом. Он вспомнил, как она негодовала на тетюшку Кейт, завещавшую ей теплую шаль и прочие мирские блага. Им с сестрой обоим суждено умереть бездетными, а все, чем они владели, принадлежало им, пока они были живы. У них нет прямых наследников. Оба отказались от помолвок, глубоких дружеских привязанностей, любовного тепла. Им никогда не хотелось всего этого. Он чувствовал, что их обоих отвергли, отправили в изгнание, оставили в одиночестве, в то время как их братья женились, а родители сошли в могилу друг за другом. Печально и нежно он погладил ее холодные, сложенные вместе руки.

---

<sup>20</sup> То есть Кембридж в штате Массачусетс, около Бостона, на другом берегу реки Чарльз. Именно в Кембридже расположены Гарвардский университет (основан в 1636 г.) и Массачусетский технологический институт (основан в 1861 г.).

## Глава 4

*Апрель 1895 г.*

Однажды вечером, пока он трясся в пролетке на какой-то званый ужин, ему в голову пришла идея написать рассказ, в котором вся драма заключалась бы в особой и сильной привязанности между осиротевшими братом и сестрой. Он не сразу нарисовал себе портрет этой пары и не сразу представил конкретные обстоятельства, в которых они оказались. Все было так туманно и обрывочно, что вряд ли годилось даже для наброска в блокноте. Брат и сестра заключили союз симпатии и нежности, а это означало, что они считывали чувства и импульсы друг друга. Однако они друг друга не контролировали, скорее – слишком хорошо понимали. Смертельно хорошо, подумал он и записал это в блокнот, не имея четкого представления о сюжете или о происшествии, которое иллюстрировало бы эту сентенцию. Может, это было избыточно, но мысль о составном «я» не покидала его. Два существа с одной и той же чувствительностью, одним воображением, вибрирующие едиными нервами, испытывающие одни и те же страдания. Две жизни, но почти один и тот же опыт. Например, оба остро переживали кончину родителей, безвозвратная потеря преследовала обоих, причиняя почти парализующие страдания.

Часто идеи посещали его вот так, случайно, без предупреждения. Часто они возникали в минуты, когда он был занят совершенно другими вещами. Эта новая идея рассказа о брате и сестре стала навязчивой, требовала от него немедленного воплощения на бумаге. Он не забывал о ней. В его воображении она оставалась по-прежнему свежей и ясной. Медленно, каким-то мистическим образом она начала сливаться с историей о привидениях, рассказанной ему архиепископом Кентерберийским, и постепенно он начал видеть нечто постоянное и явственное, как если бы процесс воображения сам по себе был призраком, мало-помалу обретающим плоть. Он видел их – брата и сестру, одиноких, отверженных, брошенных где-то в старом доме, давно забывшем, что такое любовь. У них общее сознание, одна душа, они одинаково страдают и в равной степени не готовы к великому испытанию, которое им уготовано.

Как только замысел окреп, зарождающийся рассказ со всеми его ответвлениями сюжета и возможными последствиями вывел его из мрака неудачи. Теперь он был полон решимости трудиться гораздо больше. Он снова взялся за перо – то самое, что помнило все его усилия и священную борьбу. Именно сейчас, он был уверен, он создаст творение всей своей жизни. Он готов был начать заново, вернуться к старому высокому искусству художественного вымысла, и устремления его на этот раз были слишком чистыми и глубокими, чтобы облечь их в какое-либо высказывание.

Во время послеполуденного ничегонеделания он время от времени пробегал глазами страницы своего блокнота. Однажды он даже внутренне улыбнулся, увидев несколько строк, которые казались настолько многообещающими всего три года назад, что он позволил им заполнить его рабочий день и даже его мечты, те самые строки, что стали причиной долгих месяцев летаргии, от которой он пробуждался теперь. Он заставил себя прочесть их до конца:

Ситуация с отпрыском жившего во время оно старинного венецианского семейства (забыл какого), который стал монахом, а потом был чуть ли не силой забран из монастыря и водворен обратно в мирскую жизнь, чтобы его род не прервался. Он был *последним* – и было абсолютно необходимо, чтобы он женился. Надо как-то адаптировать это к современности.

Его взгляд быстро переместился на список имен – перечень призраков, взятых из некрологов и уведомлений о смерти, список персонажей и мест, названия, которые лежали мертвым грузом в блокноте или которые все еще можно было использовать. Он мог днями напролет



вдыхать в них жизнь. *Биг – Вина (имя) – Дорин (тж.) – Пассмор – Траффорд – Норвал – Ланселот – Вайнер – Байгрейв – Хассон – Домвиль*. Последние семь букв были помещены на эту страницу безо всякой задней мысли. Он не мог вспомнить ни откуда взялась эта фамилия, ни каково точное происхождение всех предшествующих фамилий и имен. И не имел представления, почему это имя он использовал, а прочие – нет. Эта запись и это имя теперь казались такими далекими, и ему самому казалось невероятным, что его пьеса выросла из такого безнадёжного начала и, коль скоро ее заменили новой пьесой Оскара Уайльда, ее постиг столь же безнадёжный конец.

Кончина родителей, как он думал, принесла ему некое странное облегчение. Возникло чувство, что это больше не повторится, мать могла упокоиться лишь однажды, и только один раз ее тело могло быть предано земле. И это событие, при всей его черной, жестокой печали, уже в прошлом. Со смертью родителей и долгим уходом Алисы он уверовал, что больше ничто не может его ранить. Посему провал на театральной сцене стал для него потрясением такой остроты и силы, с которыми он не ожидал столкнуться снова. Ему пришлось признать, что это было почти равносильно скорби, хотя и понимал: подобные признания сродни богохульству.

Он знал, что больше не потерпит унижений от театральной публики, – он посвятит себя, как и обещал, безмолвному искусству художественной прозы. Если бы он сейчас смог работать, его дни стали бы совершенством, полным наслаждения одиночеством и удовольствия от уже написанных страниц.

Вскоре после возвращения из Ирландии, когда он погрузился в рутину чтения, переписки и наведения домашнего порядка, его молодой друг Джонатан Стерджес принес некую новость, а за ним последовал Эдмунд Госс, и с теми же самыми новостями. Они касались Оскара Уайльда.

За предыдущие месяцы Генри много думал об Уайльде. Две его пьесы до сих пор давали на Хеймаркет и в Сент-Джеймсе. Генри без труда подсчитал, сколько денег они ему приносят. Он писал об этом Уильяму, отмечая, что одним из новых явлений лондонской жизни стал вездесущий Оскар Уайльд – внезапно преуспевающий, а не абсурдный, внезапно трудолюбивый и серьезный, а не впустую растрачивающий свое и чужое время. Впрочем, Стерджес и Госс сообщили ему сведения, которых Генри не передал ни Уильяму, ни, конечно же, кому-то другому. Оба его друга обожали собирать и рассказывать свежие новости, и Генри позволил каждому думать, будто он явился первым. Ему не очень-то хотелось, чтобы оба узнали, как часто в стенах этого дома обсуждаются выходки Оскара Уайльда.

Еще до отъезда в Ирландию Генри слышал, что Уайльд потерял всякую осмотрительность. Он делал в Лондоне все, что заблагорассудится, и рассказывал об этом кому заблагорассудится. Он был повсюду, соря деньгами, выставляя напоказ свой новый успех и славу, а также сына маркиза Куинсбери – юношу столь же глубоко неприятного, как и его отец, по мнению Госса, однако гораздо более миловидного, как позволил себе признать Стерджес.

Генри предположил, что новость, которую сообщили оба его посетителя, уже известна всем. Он слышал, что отношения между Уайльдом и сыном Куинсбери стали общим местом, но Стерджес и Госс, по-видимому, чувствовали, что они и еще кое-кто посвящены в подробности, а эти подробности, по их утверждению, были настолько ужасающи, что их едва ли можно было пересказать даже шепотом. Генри спокойно наблюдал за своими гостями, велел подать им чаю и внимательно выслушал их деликатные рассуждения о вещах, мягко говоря не очень деликатных.

Госс называл их «уличными мальчишками», но Стерджес позабавил Генри сильнее, упомянув вполголоса «молодых людей, чье местожительство не вполне постоянно».

– Он их нанимает, как вы нанимаете кэб, – наконец позволил себе Госс выразиться напрямую.

– За деньги? – невинно поинтересовался Генри.

Госс очень серьезно кивнул. Генри так и подмывало улыбнуться, но он тоже хранил серьезность.

Его это не поразило и ничуть не шокировало. Все, что касалось Уайльда, с того самого момента, когда Генри впервые его увидел, даже когда они встретились в Вашингтоне у Кловер Адамс<sup>21</sup>, предполагало глубочайшие залежи тайного и наслоения неизведанного. Поведай ему Госс и Стерджес, что Уайльд каждую ночь, переодевшись женой священника, раздает милостыню беднякам, это бы его ничуть не удивило. Он смутно припоминал рассказанные кем-то обрывочные сведения о родителях Уайльда, не то о безумии его матери, не то о ее революционных настроениях, а может – о том и о другом вместе, о распутстве его отца или, возможно, о *его* революционных настроениях<sup>22</sup>. Он полагал что Ирландия слишком мала для таких, как Оскар Уайльд, и все же тот всегда нес с собой непокорный ирландский дух. Даже Лондон не смог вместить одновременно его самого, две его пьесы и множество всевозможных слухов.

– А где жена Уайльда? – спросил он у Госса.

– Дома. Дождается его с кучей неоплаченных счетов и двумя маленькими сыновьями.

Генри не смог нарисовать мысленный портрет миссис Уайльд, и вряд ли он вообще когда-нибудь встречался с ней. Он даже не знал, да и Госс тоже, ирландка она или нет. Но вот мысль о маленьких сыновьях – ангельской, как уверял Госс, наружности – больно его задела. Он вообразил двух ангелочков, ждущих возвращения своего чудовищного папаши, и подумал, хорошо, мол, что он не знает их имен. Он представлял, как они, зная не зная об отцовской репутации, все же медленно составляют о нем впечатление и тоскуют о нем, когда его нет рядом.

По мере того как до него доходили слухи, Генри полагал, что хорошо представляет себе Уайльдову натуру, но у него перехватило дыхание, и он молча прошелся по комнате, когда Госс рассказал, что Уайльд подал в суд на маркиза Куинсбери за то, что тот назвал его содомитом.

– Похоже, маркиз даже не знал, как пишется это слово<sup>23</sup>.

– Он, как мне представляется, вообще не слишком силен в орфографии.

Генри стоял у окна и смотрел на улицу, словно ждал, что там внизу вот-вот появится Уайльд или маркиз собственной персоной.

Госс всегда умудрялся намекнуть, что его сведения поступают из самых высокопоставленных и надежных источников. Неким образом он давал понять, что связан с членами кабинета или офисом премьер-министра, а в особых случаях речь шла об информаторе, близком к самому принцу Уэльскому. Стерджес же, в свою очередь, опирался на самые свежие сплетни, полученные в клубе или от случайных, не слишком-то надежных собеседников, и не скрывал этого. В течение всех этих безумных недель визиты Госса и Стерджеса ни разу не совпали – и это большое везенье, думал Генри, потому что оба приносили совершенно одинаковые сведения.

Госс навещал его каждый день, Стерджес – только когда у него были новости, хотя с началом процесса Стерджес тоже начал приходить ежедневно. Всякий раз появлялось какое-то новое преувеличение или очередной фрагмент интриги. Госс встретил Джорджа Бернарда Шоу, и тот рассказал ему о своей встрече с Уайльдом, о том, что он остерегал его от подачи иска к маркизу Куинсбери. Уайльд согласился, сказал Шоу, что это было бы безрассудством,

<sup>21</sup> Кловер Адамс (Мэриан Хупер Адамс, 1843–1885) – американская светская львица, хозяйка салона, неординарный фотограф-любитель; жена писателя и историка Генри Брукса Адамса.

<sup>22</sup> Мать Уайльда, Джейн Франческа Агнес Элджи, в замужестве Уайльд (1821–1896), действительно была неординарной личностью, очень образованной, чрезвычайно эмоциональной и пылкой, считала, что ее семья происходит от знатного итальянского рода Алигьери и называла себя потомком Данте, впрочем безосновательно. В юности Джейн Элджи участвовала в революционном движении «Молодая Ирландия» под именем Сперанца и была ярой патриоткой Ирландии. Отец великого писателя, офтальмолог и отоларинголог Уильям Уайльд (1815–1876), также был большим патриотом Ирландии, сделал блестящую карьеру, однако был обвинен в соvrщении юной пациентки; в итоге его карьера рухнула, а он умер от алкоголизма.

<sup>23</sup> В феврале 1895 г. Альфред Куинсбери оставил в клубе визитную карточку с надписью «Оскару Уайльду, пародии на сомдомита», якобы нарочно сформулированную таким образом, чтобы избежать иска.

и все улеглось, но тут появился лорд Альфред Дуглас, наглый и раздражительный, как описал его Шоу, и потребовал, чтобы Уайльд судился с его папашей, он набрасывался на всех, кто советовал Уайльду соблюдать осторожность, и настаивал, чтобы тот сию же минуту уехал с ним. Дуглас был багров от ярости, сказал Шоу, испорченный мальчишка. Но вот что странно – Уайльд, казалось, находился в полной его власти, следовал за ним по пятам и, похоже, уступил его настояниям. Он просто таял от жаркого гнева этого юнца.

Стерджес первым принес сообщение о том, что маркиз Куинсбери намеревался рассказать суду.

– У него, как мне сказали, имеются свидетели. Свидетели, которые не пощадят нас и раскроют все подробности.

Генри взгляделся в молодое лицо Стерджеса, его широко раскрытые глаза. Ему хотелось похлопать его по плечу и сказать, что он охотно выслушает все подробности, как только они станут достоянием гласности, и что он не хочет пощады.

История Уайльда заполнила дни Генри. Он читал все, что печаталось об этом деле, и с нетерпением ждал новостей. Он писал о процессе Уильяму, давая понять, что не испытывает никакого уважения к Уайльду, что ему не нравятся ни его произведения, ни его деятельность на сцене лондонского высшего общества. Уайльд, настаивал он, никогда не был ему интересен, но теперь, когда тот отбросил всякую осторожность и, казалось, был готов превратить себя в публичного страсотерпца, этот ирландский драматург начал вызывать у него огромный интерес.

– Я слышал новость чрезвычайной важности, – выпалил Госс, не успев даже присесть и покачиваясь на ходу, словно у него под ногами палуба корабля. – Уверен, что папаша Дугласа представит немало прохвостов. Чумакая беспризорщина будет давать показания против Уайльда, и, как мне сообщили, свидетельства будут неопровержимыми.

Генри знал, что нет нужды задавать вопросы. Да и в любом случае он не знал, в какую форму облечь вопрос, который надо бы задать.

– Видел я имена этих свидетелей, – театрально закатил глаза Госс, – сколько же там ничтожеств! Судя по всему, Уайльд ялся с ничтожествами, ворами и шантажистами. Может, тогда цена и казалась небольшой, но теперь это, похоже, дорого ему обойдется.

– А что же Дуглас? – спросил Генри.

– Говорят, он замешан по самые уши. Но Уайльд хочет, чтобы он держался от этого подальше. Похоже, наигравшись со своими юными приобретениями, он передаривал их Дугласу и бог знает кому еще. Оказывается, существует список тех, кто снимал этих мальчишек.

Генри заметил, что Госс наблюдает за ним, ожидая реакции.

– Отвратительно, – сказал он.

– Да, список, – повторил Госс, как будто Генри ничего и не говорил.

Ни Стерджес, ни Госс не посещали заседаний суда, но оба, казалось, наизусть знали все обмены репликами. Уайльд, по их словам, держался самонадеянно и высокомерно. Он говорил так, утверждал Стерджес, будто сжигал все мосты, поскольку собирался уехать во Францию. Он был остроумен и надменен, беспечен и полон презрения. Всегдашние источники Госса однажды вечером доложили, что Уайльд уже отчалил, но на следующий день выяснилось, что ничего подобного, и Госс предпочел об этом не упоминать. Тем не менее оба информатора Генри не сомневались, что Уайльд уедет во Францию, и у обоих имелись имена беспризорников, которые давали показания, и каждого они описывали как личность со своим характером и собственным досье.

На третий день процесса Генри заметил новую напряженность в голосах и Госса, и Стерджеса. Накануне они, независимо друг от друга, не спали допоздна и обсуждали дело. Ждали, пока не доведались, что Уайльд в тот день появился в суде, а значит, они могли прийти со свежими новостями. Госс провел часть предыдущего вечера с поэтом Йейтсом, который, как сказал Госс, единственный среди тех, с кем он говорил, восхищался Уайльдом и хвалил того за мужество. Поэт обрушился на публику, клеймя ее лицемерие, сообщил Госс.

– Я не знал, – прибавил он, – что публика любит возиться в сточной канаве, я так и сказал Йейтсу.

– Он знаком с Уайльдом? – спросил Генри.

– Все ирландцы заодно, – ответил Госс.

– Но хорошо ли он его знает? – настаивал Генри.

– Он поведал мне удивительную историю, – сказал Госс. – О том, как однажды провел с Уайльдами Рождество. Дом, говорит, был еще краше, чем про него рассказывали, – весь белый, повсюду диковинные и красивые вещицы. А самой главной красотой в этом доме была сама миссис Уайльд – умная и весьма привлекательная, если верить Йейтсу. А еще два кудрявых мальчугана – воплощение невинности и очарования, совершенные создания. Все было превосходно, говорит, и дом – само совершенство, и там царит не только отличный вкус, но и величайшая теплота, красота и великая любовь.

– Выходит, недостаточно великая, – сухо заметил Генри. – Или, пожалуй, чересчур.

– Йейтс намерен нанести ему визит, – сказал Госс. – Я пожелал ему удачи.

Стерджес внимательно слушал, когда Генри впервые коснулся того, что рассказал ему Госс.

– Совершенно ясно, – сказал Стерджес, – что Бози – любовь его жизни. Он все бросит ради него. Уайльд нашел любовь своей жизни.

– Тогда почему он не увезет его во Францию? – спросил Генри. – Там таких людей принимают нормально.

– Он все еще может уехать во Францию, – заметил Стерджес.

– Невозможно объяснить тот факт, что он не сделал этого до сих пор, – сказал Генри.

– Мне кажется, я знаю почему, – ответил Стерджес. – Я много раз обсуждал это с теми, кто хорошо его знает или хотя бы думает, что хорошо его знает, и думаю, я понял.

– Пожалуйста, объясните, – попросил Генри, усаживаясь в кресло у окна.

– За один только короткий месяц, – медленно произнес Стерджес, словно заранее обдумывал следующее предложение, – он сидел в зрительном зале на премьере двух своих пьес, пережил триумфы, всеобщие похвалы и лицеизрел свое имя, напечатанное огромными буквами. Это любого выбило бы из колеи. Никто не может осуждать человека, который только что опубликовал книгу или поставил пьесу.

Генри промолчал.

– А тут еще, – продолжал Стерджес, – он побывал в Алжире, и можете себе представить, слухи о некоторых его похождениях просочились и к нам. Похоже, ни он, ни Дуглас не ведали стыда, якаясь с местными племенами, и возбуждение, должно быть, свело с ума и самого Уайльда, и, конечно, местных, не говоря уже о ком-то еще.

– Могу себе представить, – кивнул Генри.

– А когда он вернулся, ему негде было жить, он скитался по гостиницам, и к тому же без гроша в кармане.

– Этого быть не может, – возразил Генри. – Я подсчитал его доходы в театре. Они очень высоки.

– Бози потратил их за него, – ответил Стерджес. – Да еще и задолжал слишком много. Уверен, у Оскара нет денег даже на то, чтобы оплатить номер в гостинице, и управляющий захватил все его пожитки как залог.

– Это не мешает ему уехать во Францию, – сказал Генри. – Мог бы купить там новые вещи, и даже получше прежних.

– Он абсолютно сорвался с якоря, стал неспособен мыслить здраво, – сказал Стерджес. – Неспособен принимать решения. Успех, любовь, отели – все это слишком для него. К тому же он уверен, что его отъезд станет ударом для Ирландии, и с этим я ничего не могу поделать.

Как только слушания завершились, для Госса стало совершенно очевидно, что, если Уайльд не сбежит, его арестуют. По словам Госса, полиции известно, где Уайльд находится, и с каждым часом возрастала вероятность, что ему предъявят обвинение в непристойном поведении, а то и в чем похуже, учитывая свидетелей, повывезавших из сточных канав Лондона.

– Помните, я говорил вам про список? И теперь в городе царит страх, а правительство, как мне сообщил весьма авторитетный источник, решительно настроено покончить с разгулом непристойности. Боюсь, последуют и другие аресты. Я даже слышал некоторые фамилии и был весьма шокирован.

Генри наблюдал за Госсом, обращая внимание на модуляции его голоса. Внезапно его старый друг превратился в ярого сторонника искоренения непристойности. Жаль, в комнате не было какого-нибудь француза, чтобы охладить пыл Госса, поскольку друг его, кажется, влился в воинственные ряды английской общественности, охваченной угаром фарисейства. Ему хотелось предостеречь его, что это пагубно отразится на стиле его прозы.

– Вероятно, временное одиночное заключение поможет Уайльду, – сказал Генри. – Но не мученичество. Такого никому не пожелаешь.

– Очевидно, Кабинет обсудил список, – продолжил Госс. – Полиция, похоже, уже опрашивает людей и многим посоветовали пересечь Канал. И я уверен, пока мы с вами тут беседуем, многие уже сели на пароход.

– Да, – согласился Генри. – И помимо морального климата они найдут там диету получше нашей.

– Пока неясно, кто находится под подозрением, но ходит много слухов и предположений, – прибавил Госс.

Генри заметил, что Госс тайком за ним наблюдает.

– Думаю, каждому, кто был, так сказать, скомпрометирован, следует отправиться в путешествие как можно скорее. Лондон – большой город, и многое может происходить в нем тихо и тайно, но теперь тайна выплыла наружу.

Генри встал, подошел к книжному шкафу, расположенному между двух окон, и принялся рассматривать книги на полках.

– Я тут подумал, если вы, возможно... – Госс умолк.

– Нет, – резко обернулся к нему Генри. – Не думайте. Не о чем тут думать.

– Что ж, это большое облегчение для меня, должен признаться, – тихо пробормотал Госс, вставая.

– Так вы пришли, чтобы спросить об этом? – Генри впился взглядом в лицо Госса, и взгляд его был прямым и достаточно враждебным, чтобы предотвратить какой-либо ответ.

Стерджес продолжал навещать Генри и тогда, когда Уайльда уже заключили под стражу до вынесения приговора и всякая возможность его побега во Францию исчезла.

– Говорят, его мать торжествует, – сказал Стерджес. – Она уверена, что он нанес жесточайший удар Империи.

– Трудно представить, что у него есть мать, – сказал Генри.

Генри спрашивал и у обоих своих визитеров, и у всех, с кем общался за эти недели, знает ли кто-нибудь, что случилось со златокудыми детишками, чье имя было опорочено навеки. Отличился Госс.

– Он теперь банкрот, однако его жена – нет. У нее есть собственные деньги, и она переехала в Швейцарию, насколько мне известно. Она сменила фамилию себе и сыновьям. Фамилию отца они больше не носят.

– А знала ли она до суда, чем занимается ее муж? – спросил Генри.

– Нет, насколько я понял, не знала. Это был для нее огромный удар.

– А что знают мальчики?

– Этого я не могу вам сказать. Я не слышал, – сказал Госс.

День-деньской он думал о них, настороженных, прекрасных созданиях, оказавшихся в стране, на языке которой не понимают ни слова, – их имена стерты, а отец повинен в каком-то мрачном, неназванном преступлении. Генри представил их в замкообразных швейцарских апартаментах, в комнатах наверху с видом на озеро, их няню, отказывающуюся объяснить, зачем они проделали такой долгий путь, почему вокруг так тихо, почему мама держится от них наособицу, а потом вдруг крепко прижимает к себе, словно им угрожает опасность. Он думал, как мало им нужно сказать друг другу об окружающих демонах, об их новом имени, о колоссальной изоляции, о тектоническом сдвиге, который привел к их каждодневному одиночеству в этих промозглых комнатах, будто в ожидании неминуемой катастрофы, о призрачной памяти отца: вот они карабкаются по ступенькам, а он стоит на голой, полусвященной лестничной площадке и улыбается им, и манит из тени.

Когда Уайльду вынесли приговор и взбаламученный ил мрачного лондонского дна осел, отношения Генри с Эдмундом Госсом вернулись в прежнее русло, потому что и сам Госс стал прежним. Сразу же после того, как Уайльда заключили в тюрьму, Госс перестал вещать как член палаты лордов.

Однажды днем, когда они сидели у Генри в кабинете и пили чай, вдруг всплыла одна старая тема, так сильно занимавшая мысли Генри. Речь зашла о Джоне Аддингтоне Саймондсе<sup>24</sup> – друге Госса, с которым тот вел постоянную переписку, умершем двумя годами ранее. Из всех тех, заметил Генри, кто упивался каждым мгновением дела Уайльда, ДжАС, как он его величал, был бы самым активным и заинтересованным. Ради этого он бы непременно вернулся в Англию.

– Он бы, конечно, возненавидел Уайльда, – сказал Госс. – За вульгарность и грязь.

– Да, – терпеливо ответил Генри, – но его бы захватило то, что вышло наружу.

Саймондс жил главным образом в Италии и с большой, пожалуй, даже чрезмерной чувственностью писал о ее ландшафтах, искусстве и архитектуре. Он сделался знатоком итальянского света и итальянской колористики, но помимо этого он стал экспертом в другом, более щекотливом вопросе, который он называл «проблемой древнегреческой этики», – вопросе любви между двумя мужчинами.

Десять лет назад Генри и Госс обсуждали Саймондса так же ненасытно, как обсуждали Уайльда во время судебного процесса. В то время Госс не так свободно вращался среди сильных мира сего, и между ними существовало негласное понимание, что озабоченность Саймондса касается каждого из них лично, – понимание, которое с годами уменьшалось.

В восьмидесятые годы Саймондс в письмах из Италии не скрывал своих пристрастий. Он писал откровенные послания всем своим друзьям и многим из тех, кто его друзьями не являлся. Он разослал свою книгу на упомянутую тему всем, кто мог, по его мнению, инициировать дебаты. Многие получившие книгу были возмущены и пристыжены. Саймондс хотел вывести эту тему из тени на свет, открыто ее обсуждать, и это, как заметил Госсу Генри тогда, был явный признак того, что он слишком долго не был в Англии, перегрелся за столько лет на

---

<sup>24</sup> Джон Аддингтон Саймондс (1840–1893) – английский писатель, поэт, переводчик, литературный критик, искусствовед; одним из первых открыто защищал права приверженцев однополых отношений.

итальянском солнышке. Госс интересовался общественной жизнью и хотел обсудить последствия того, что говорил Саймондс, для законодательства и общественных взаимоотношений. А Генри, со своей стороны, был очарован Саймондсом. К тому времени Генри получил от него несколько писем об Италии, а несколькими годами ранее случайно оказался за обедом рядом с женой Саймондса. Он помнил, что она в основном молчала, была особой довольно скучной, и когда Генри заинтересовался ею в связи с ее супругом, то не смог припомнить ни единого сказанного ею слова.

Однако она произвела на него впечатление человека с твердыми взглядами, неизблежными установками, и по мере того, как Госс продолжал рассказывать ему о Саймондсе, Генри, словно художник, начал работать над воображаемым портретом миссис Саймондс. Она, по словам Госса, не испытывала ни малейшей симпатии к тому, что сочинял ее муж, не одобряла восторженный тон, которым он описывал Италию, ее ужасала его гиперэстетическая манерность, и, наконец, она ненавидела всю эту его озабоченность любовью между мужчинами. По словам Госса, она изначально была косной, узкой, холодной кальвинисткой, и ее искания нравственной цели были столь же болезненны, сколь и поиски абсолютной красоты, которым посвятил себя ее муж. Госс утверждал, что супруги усугубляли друг друга и с течением времени миссис Саймондс все больше алкала вретиса, а ее супруг тосковал по древнегреческой любви.

Госс в своих праздных разговорах о Саймондсах даже не осознавал, насколько Генри увлекся. В любом случае, рассказ явился Генри настолько быстро и легко, что у него просто не было времени сказать об этом Госсу. Он взялся за дело.

А что, если бы у подобной пары был ребенок – мальчик, впечатлительный, умный, внимательный к окружающему миру и глубоко любимый обоими родителями? Какое воспитание получил бы этот ребенок? Какое отношение к жизни ему привили бы? Он слушал Госса и задавал вопросы, а из ответов начал конструировать сюжет рассказа. Его первые идеи впоследствии показались ему слишком радикальными, так что он отказался от амбиций родителей насчет их сына – одна мечтала, чтобы сын посвятил себя церкви, а другой, то есть отец, хотел сделать из сына художника. Вместо этого он сделал идею более драматичной – мать просто хотела спасти душу сына, а для этого ей нужно было оградить его от писаний отца.

Поначалу он раздумывал, а не вырастить ли ему этого мальчика неотесанным невеждой, максимально далеким и от надежд матери, и от честолюбивых замыслов отца. Но, работая в одиночестве, вне бесед с Госсом, он решил иметь дело только с мальчиком, а временные рамки рассказа сделать максимально сжатыми и драматическими. А еще нужно ввести постороннего, американца. Пусть это будет поклонник отцовского творчества, один из немногих, кто понимает его истинный гений. Отца, решил он, можно сделать поэтом или романистом, или и тем и другим. Американца очень любезно принимают, он остается бок о бок с семейством несколько недель, и эти недели совпадают с болезнью и смертью ребенка. Американец понимает то, о чем не догадывается отец, – ночью у постели больного ребенка мать втайне решила, что будет лучше, если ее мальчик умрет. И она смотрела, как он гибнет, держа его за руку, но ничего не делая, и позволила ему угаснуть. Американец не способен передать эту информацию автору, которым он так восхищается.

Генри набросал костяк рассказа за одну ночь, сразу после ухода Госса, а потом работал стабильно, ежедневно. Он знал, что эта тема требует невероятной деликатности подхода, и все равно, возможно, она покажется чудовищной и неестественной. Однако история его заинтриговала, и он решил попытаться, поскольку общая идея – морального разложения, пуританства, невинности – была также чрезвычайно интересна и во многом типична для определенных современных ситуаций.

Он вспомнил, как перепугался Госс, когда рассказ появился на страницах журнала «Инглиш иллюстрейтед». Тот сказал, что большинство узнает Саймондсов, а кто не узнает – вообразит, что речь идет о Роберте Льюисе Стивенсоне. Генри сказал ему, что рассказ написан

и опубликован; он ни на миг не задумывается, увидит ли кто-то в его героях себя или других. Госс продолжал нервничать, зная, какой большой вклад внес в его создание. Он настаивал, что писать рассказы, используя фактический материал и реальных людей, нечестно, странно и в некоторой степени подло. Генри не желал его слушать. Госс в отместку перестал делиться с ним своим обычным запасом сплетен.

Впрочем, вскоре его друг забыл о своих возражениях против искусства художественного вымысла как дешевой имитации настоящего и истинного и опять начал рассказывать Генри новости, которые ему удалось собрать со дня последней их встречи.

Когда Стерджес рассказал Генри, что жена Уайльда приехала из Швейцарии лично сообщить мужу-арестанту о смерти его матери, он снова задумался о судьбе детей, рожденных в союзе противоборствующих сил.

Перед мысленным взором его возникла картина: он и Уильям у окна отеля «Экю» в Женеве. Тогда ему было двенадцать, а Уильяму – тринадцать, и время, проведенное ими в Швейцарии, казалось ему вечностью скорби: бесконечные часы скуки, грязные улицы, дворы и переулки, черные от старости.

Он представил себе сыновей Уайльда, с чужими именами, с неизведанной судьбой, как они смотрят в окно вслед уходящей матери. Он спрашивал себя, чего они боялись больше всего с наступлением ночи – двое испуганных детей в неумолимом городе, с его густыми и мрачными тенями, два малыша, не понимающие до конца, почему мама покинула их, оставив на попечение слуг, во власти безымянных страхов, едва уловимых знаний и памяти о злодее-отце, которого изолировали от мира.



## Глава 5

*Май 1896 г.*

Болела правая рука. Когда он спокойно писал, не делая росчерков, то не чувствовал даже легкого дискомфорта, но когда прекращал писать, когда просто шевелил кистью – брался за дверную ручку, например, или брился, – то ощущал мучительную боль в запястье и в районе кости, идущей к мизинцу. Поднять со стола лист бумаги для него теперь стало чем-то вроде пытки средней тяжести. Уж не повеление ли это богов, думал Генри, чтобы он не переставал писать, не выпускал перо из пальцев?

Каждый год с приближением лета им овладевала одна и та же настойчивая, безотчетная тревога, рано или поздно перерастающая в панику. Поскольку трансатлантические путешествия стали более легкими и комфортабельными, популярность их тоже выросла. С течением времени его многочисленные кузины и кузены, казалось, обзавелись множеством собственных кузенов и кузин, а друзья – сонмами новых друзей. В Лондоне все они желали посетить Тауэр, Вестминстерское аббатство и Национальную галерею, а со временем и его имя было внесено в этот список великих местных памятников, которые необходимо обозреть. Когда вечера стали более долгими и ласточки вернулись с юга, к нему косяками потянулись письма – письма-рекомендации и, как он их называл, письма-дерзновения от самих туристов, уверенных, что их визит будет лишен должного блеска, если они упустят исключительную возможность встретиться со знаменитым писателем и не воспользуются благом его общества и его советами. Если его ворота окажутся для них закрыты, подразумевалось в их письмах – на самом деле они часто настаивали и умоляли, – они не получат полного удовлетворения, ибо их деньги будут потрачены зря, а это, как ему открылось, становилось все более и более важным для его соотечественников на исходе столетия.

Он вспомнил одну сцену, записанную им в блокноте в прошлом году. С тех пор она не выходила у него из головы. Джонатан Стерджес рассказал ему о встрече в Париже с Уильямом Дином Хоуэллсом, которому было под шестьдесят. Хоуэллс сказал Стерджесу, что не узнает города, все здесь для него ново и каждое впечатление он испытывает впервые. Хоуэллс выглядел печальным и задумчивым, будто намекая, что для него уже слишком поздно, он на склоне жизни и теперь ему остается лишь впитывать ощущения и сожалеть, что молодость прошла без них. А потом, в ответ на какую-то фразу Стерджеса, Хоуэллс положил руку ему на плечо и воскликнул:

– О, вы же так молоды! Живите и радуйтесь жизни, живите на полную, большая ошибка этого не делать. Не так уж и важно, что именно вы делаете, – просто живите.

Стерджес по ролям разыграл их диалог и вложил в его слова странный и жалостный призыв, внезапный трагический всплеск, словно Хоуэллс впервые говорил правду. Генри знал Хоуэллса тридцать лет и регулярно с ним переписывался. Когда бы Хоуэллс ни приехал в Лондон, он чувствовал там себя как дома, как повидавший мир космополит. Генри крайне удивило тогда, что своей реакцией на Париж Хоуэллс создал у Стерджеса впечатление, будто он вообще не жил и ему уже поздно начинать.

Генри хотел бы, чтобы его американские гости чувствовали себя в Лондоне так, как Хоуэллс в Париже. Чтобы эти визиты вызывали в них благоговейный трепет или сожаление или заставляли бы понимать мир и свое место в нем, как никогда прежде. А вместо этого он выслушивал от них, что, дескать, таких тауэров и в Соединенных Штатах полно, а некоторые их исправительные учреждения уж по крайней мере размерами выгодно отличаются от лондонского Тауэра. И кстати, их река Чарльз, похоже, куда лучше служит своей цели, нежели Темза.

И тем не менее каждое лето он с интересом созерцал Лондон глазами своих визитеров, воображал, будто он один из них, будто видит Лондон впервые, так же, как представлял жизнь,

которой мог бы жить, когда ездил в Италию и обратно в Соединенные Штаты. Новый уличный пейзаж, даже одно-единственное здание могли наполнить его мыслями о том, кем он мог бы стать, кем он мог бы быть сейчас, если бы остался в Бостоне или проводил свои дни в Риме или Флоренции.

В детстве для него и для Уильяма, а возможно, и для Уилки с Бобом или даже для Алисы причины переезжать из Парижа в Булонь, или из Булони обратно в Лондон, или вообще из Европы назад в Соединенные Штаты никогда не казались такими прочными, как вечное беспокойство их отца, его сильнейшее возбуждение, которого они так никогда и не смогли понять. Все его детство семья Генри обретала пристанище только затем, чтобы вскоре снова быть вырванной с корнем, или, поселившись, как это часто бывало, в неудачном жилище, они сидели на чемоданах, ожидая скорого отцовского объявления, что им опять придется уехать. Это вызывало у Генри острую жажду защищенности и оседлости. Он не мог понять, зачем его семья перебралась из Парижа в Булонь. Ему было двенадцать или тринадцать лет, и, наверное, тогда грянул кризис на фондовой бирже, или какой-то арендатор не внес арендную плату, или пришло тревожное письмо о дивидендах.

Живя в Булони, они часто гуляли с отцом по берегу моря. Генри запомнилась одна из таких прогулок – безветренный и спокойный день в начале лета, уходящее вдаль песчаное пространство, широкая морская гладь. Они зашли в кафе с большими прозрачными окнами и посыпанным отрубями полом, что, по мнению Генри, придавало ему шарм цирковой арены. В кафе было пусто, не считая пожилого господина, с перекошенным лицом ковырявшегося в зубах, и еще одного посетителя, макавшего булочки с маслом в кофе и, к вящему восторгу Генри, уничтожавшему их в крошечном промежутке между носом и подбородком. Уходить Генри не хотелось, но отец настаивал на ежедневной прогулке по пляжу, посему пришлось лишиться удовольствия созерцать пищевые обычаи французов.

Должно быть, отец что-то рассказывал, пока они шли домой. Во всяком случае, перед его мысленным взором сейчас предстал яркий образ – бурно жестикулируя, Генри Джеймс-старший обсуждает какую-то лекцию, книгу или новый круг идей. Ему нравилось слушать отца, особенно если рядом не было Уильяма. Они не шли по мелководью и вообще не подходили к волнам слишком близко. Ему запомнилось, что шли они очень быстро. Возможно, у отца в руках даже была трость. Это была картинка счастья. И для стороннего зрителя она, наверное, такой и осталась – идиллической сценкой общения отца и сына, беззаботно гуляющих вместе поздним утром по пляжу в Булони. В море купалась какая-то женщина – молодая женщина, за которой присматривала женщина постарше, сидя на песке. Купальщица была дама дородная, даже, пожалуй, чересчур, но элементы купального костюма надежно защищали ее телеса. Она очень умело плыла, позволяя волнам вынести себя на берег. Затем она стояла в море спиной к берегу и плескала руками по воде. Генри не обратил на нее внимания поначалу, когда отец остановился и сделал вид, что ищет глазами некую точку далеко на горизонте. Затем отец в полном молчании сделал несколько рассеянных шагов вперед и повернулся, чтобы снова обшарить взглядом горизонт. На этот раз Генри сообразил, что отец рассматривает купальщицу, изучает ее яростным, голодным взглядом, а потом отворачивается к невысоким дюнам у него за спиной и притворяется, что они интересуют его в той же степени.

Когда отец отвернулся в очередной раз и направился в сторону дома, он затаил дыхание и молчал. Генри хотел придумать отговорку, чтобы побежать вперед, оторваться от него, но затем отец снова повернулся, и выражение лица у него было оживленное, лицо покрылось пятнами, а взгляд стал колючим, словно от злости. Теперь отец застыл на берегу и, дрожа от возбуждения, разглядывал пловчиху, стоявшую спиной к нему в облегающем ее тело купальном костюме. Отец больше не прилагал усилий, чтобы казаться небрежным. Его взгляд был преднамеренным, целенаправленным, но никто другой этого не заметил. Женщина не оборачивалась, ее компаньонка уже удалилась. Генри знал, что для него было важно сделать вид, что

ничего особенного в этом нет. Не было и речи о том, чтобы упомянуть или как-то прокомментировать все это. Отец не шевелился и, казалось, не замечал его присутствия, но, должно быть, знал, что он здесь, думал Генри. Как бы там ни было, он слишком упивался разглядыванием купальщицы, чтобы обращать внимание на сына. Наконец, развернувшись, отец направился в сторону дома. И все время оглядывался на ходу с затравленным видом неудачника. А женщина снова уплыла в море.

Генри любил мягкость красок на побережье вблизи Рая<sup>25</sup>, любил переменчивый свет, сливочные облака, плывущие по небу словно с какой-то целью, известной лишь им одним. Последние годы он летом всегда приезжал сюда. И это лето не стало исключением. Он шел быстрым шагом, пытаясь хоть раз насладиться днем, ничего не загадывая, но не переставал спрашивать себя, чего же он хочет сейчас, и отвечать, что хочет самого большого – спокойной работы, спокойных дней, маленький и красивый дом и этот мягкий летний свет. Перед отъездом из Лондона он купил себе велосипед, который теперь лежал, дожидаясь его, на тропинке, ведущей к пляжу. Он поймал себя на том, что даже не хочет возвращать прошлое, что научился не просить об этом. Его мертвые не вернуться. Избавившись от страха, что они умрут, он испытал странное удовлетворение и теперь как будто хотел только одного – чтобы время замедлилось.

Каждое утро он стоял на террасе и жалел, что не имеет возможности запечатлеть эти мгновения красоты и сохранить их при себе.

Мощная терраса была изогнута, словно нос корабля, и с нее открывался чудесный вид, одновременно чистый и переменчивый, как морской простор. А внизу раскинулось местечко Рай – самое неанглийское во всей Англии – с красными черепичными крышами, меандрами мощеных булыжниками улиц и сгрудившимися на них домами. Типично итальянский городок на холме, он обладал особой атмосферой – чувственной и одновременно аскетичной. Теперь он ежедневно гулял по улочкам Рая, разглядывая дома, лавочки с решетчатыми переплетами витрин, квадратную колокольню, выдержанную красоту кирпичной кладки. А дома Генри ждала терраса – его оперная ложа, из которой он мог обозревать все царства мира. Его терраса, думал он, дружелюбна, как человек, и даже более дружелюбна. Он сожалел, что не может купить этот дом, и уже начал роптать по поводу планов владельца вернуть себе дом в начале июля.

В июне ночей почти не было. Он допоздна задерживался на террасе, пока медлительный туман напознал на долину и опускалась мягкая, прозрачная мгла. А спустя несколько часов уже начинал брезжить рассвет. Его единственный гость в эти дни праздности и трудолюбия еще раз написал, подтвердив даты своего приезда и отъезда. Оливер Уэнделл Холмс-младший<sup>26</sup> был его старым другом, теперь отдалившимся, частью группы единомышленников, молодых людей, которых он знал по Ньюпорту и Бостону. Уже в тридцать с небольшим они стали выдающимися людьми и теперь оказывали ведущее влияние на эпоху. Когда они приезжали в Англию, то казались ему непостижимыми – такие уверенные, они всегда так умело завершали фразу, так привыкли, что их слушают. И все же в сравнении с мужчинами их круга из Англии и Франции они, как ни странно, выглядели зелеными юнцами, их дерзость была сродни невинности. Его брат Уильям тоже был таким, но то была лишь одна его половина. Другая же состояла из глубочайшего самосознания, где вся его незрелость и свежесть были погребены под толстым слоем иронии. Уильям знал, какой эффект может произвести его зрелая и сложная личность,

---

<sup>25</sup> Рай – небольшой исторический город в Англии, расположенный вблизи морского побережья в графстве Восточный Суссекс.

<sup>26</sup> Оливер Уэнделл Холмс-младший (1841–1935) – американский юрист и правовед, многолетний член Верховного суда США. О. У. Холмс родился в семье известного врача и писателя О. У. Холмса-старшего. С 1850-х гг. он включился в аболиционистское движение. С началом Гражданской войны в США в 1861 г. прервал учебу в университете и ушел добровольцем в армию северян.

но это лежало в той области, о которой их современники, обладающие влиянием в литературном мире Соединенных Штатов или в юриспруденции, ровным счетом ничего не знали. Они оставались естественными, и это для Генри представляло огромный интерес.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.